КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА



Мюриэл СПАРК

Портобелло-роуд

Портобелло-роуд (сборник)
Мюриэл Спарк

Аннотация
Мюриэл Спарк
ПОРТОБЕЛЛО-РОУД. (сборник)
- Птичка-«уходи»
  - I
  - II
  - III
- Портобелло-Роуд
- Член семьи
- Дочери своих отцов
- Черная мадонна
- Видели бы вы, что там творится
- Близнецы
- Темные очки
- Позолоченные часы
- Для зимы печальные подходят сказки

Аннотация

Рассказы Мюриэл Спарк разных лет. Сюрреалистические «Темные очки», зловещая «Черная мадонна», гротесковая «Птичка-„уходи“», изысканная и страшная «Портобелло-роуд»… Что же объединяет столь разные произведения? Конечно, блестящая и очень своеобразная ирония Мюриэл Спарк, которая делает каждый ее рассказ не только увлекательным, но и просто незабываемым!

Мюриэл Спарк

ПОРТОБЕЛЛО-РОУД

(сборник)

Птичка-«уходи»

(повесть)

I

В колонии водились турако с серым хохолком, по прозванию птичка-«уходи», потому что в их посвисте слышалось: «у-хо-ди». Птичка себе пела, но слышали ее немногие, потому что голос ее сливался с гомоном животного мира, с треском допекаемого солнцем мира растительного, с дробным босоногим топотом туземцев, гуськом трусивших из крааля в крааль.

На охоте с дядей и юными сверстниками, млея от счастья под широкополой шляпой, Дафна дю Туа, случалось, слышала птичку-«уходи». Иногда на ее каникулы к дяде и тете со всей тридцатимильной округи съезжалась соседская молодежь. Обычно выпрашивалась поездка в ближайший поселок, — в «дорп», как они его называли, потому что на самом деле это была просто деревня с песчаной центральной улицей, и туда нельзя было добраться в дождливый сезон, когда реки

разливались.

«Форд V-8» с грохотом катил по склону холма, перед глазами вырастал, надвигаясь, зубчатый горизонт рифленых железных крыш, и скоро машина останавливалась перед почтовой конторой, где одновременно располагалась колониальная администрация. Под приветственные возгласы и улыбки белых приехавшие горохом сыпались из машины. В нескольких ярдах от нее, словно вылепившись из воздуха, любопытно скалила зубы кучка туземцев. Приехавшие скорым шагом миновали европейский магазин, пару туземных лавок и десяток вразброс стоявших домов с сумрачными верандами, затянутыми прохудившимися москитными сетками, откуда неслись голоса, бранившие слуг. Притом что это была британская колония, в «дорпе» и поблизости жили в основном африканеры, или голландцы, попросту говоря. Голландцем был и отец Дафны, а мать — англичанкой, ее фамилия была Паттерсон, и после их смерти девочка жила у родственников с материнской стороны, у Чакаты Паттерсона и его жены, которые понимали африкаанс, но говорить на нем не любили. Чакате было шестьдесят лет, он был намного старше матери Дафны, его дети обзавелись семьями и вели хозяйство в

других колониях. К туземцам Чаката питал нежную любовь. За тридцать с лишним лет его никто не назвал Джеймсом — его знали под именем, которое ему дали туземцы: Чаката. Насколько он любил туземцев, настолько ненавидел голландцев.

Дафна вошла в его дом, когда ей было шесть лет, осиротев к тому времени. В тот год Чаката получил за свои образцовые кафрские деревни орден Британской империи. Дафна помнила, как в скрипучих автофургонах и влекомых лошадьми или, случалось, волами крытых повозках приезжали издалека поздравить Чакату соседи, одолев тридцать, а то и все пятьсот миль. На дворе росли штабеля пустых бутылок. С утра до вечера взад-вперед сновали негритята, прислуживая гостям, которые кто устроился в доме, а кто — таких было большинство — ночевал в своих повозках. Среди гостей были голландцы — эти, выбравшись из повозок, опускались на колени и благодарили Господа за благополучный конец пути. Проорав потом распоряжения слугам, они шли поприветствовать Старого Тейса, который уже выходил к ним навстречу. Чаката неизменно высылал вперед Старого Тейса, когда на ферму приезжали голландцы. Этим он оказы-

вал внимание своему табачнику-голландцу: он полагал, что африканерам будет приятнее пообщаться сначала со Старым Тейсом, покалякать о чем-нибудь своем на африкаанс. Сам Чаката знал не меньше двадцати местных диалектов, но заговорить на африкаанс было для него такой же дичью, как вдруг заговорить по-французски. Если голландские гости хотели выказать свое искреннее расположение, они должны были поздравлять Чакату с орденом на английском языке, сколько бы плохо они его ни знали. Всем было известно, что Старый Тейс наступал Чакате на любимую мозоль, когда обычно обращался к нему на голландском языке, и отвечал ему Чаката только по-английски.

Несколько недель после возвращения Чакаты с орденом из резиденции губернатора его дом кишел гостями, и все это время Дафна крутилась во дворе, поджидая автомобили и фургоны, которые, быть может, привезут ей кого-нибудь для компании. Ее единственным товарищем был негритенок Мозес, сын кухарки, на год постарше Дафны, но его то и дело дергали — сходить за водой, подмести двор, принести дров. И он семенил через двор с вязанкой дров, поверх которой выглядывали только его глаза, бережно оплетя

ее такими же смуглыми руками-хворостинками. Когда Дафна бежала за Мозесом к колодцу или поленнице, какая-нибудь туземная старуха останавливала ее: «Нет, мисси Дафна, вы не делать работа негритенка. Вы ходить играть». Она убегала на выгул за кустами гуавы, на апельсиновую плантацию, и только к табачным сушильням не уносили ее босые ноги, потому что там она наткнется на Старого Тейса и тот бросит свои дела, выпрямится и, скрестив руки на груди, уставит на нее глаза, голубеющие на песочного цвета лице. Она ответит ему затравленным взглядом и бросится наутек.

Однажды она шла по высохшему руслу реки, перерезавшей владения Чакаты, чуть не наступила на змею и с визгом кинулась со всех ног к ближайшим строениям, а это были табачные сушильни. Перед одной из них появился Старый Тейс, и перепуганная Дафна воспрянула и кинулась к человеку: «Змея! Там змея в реке!» Человек выпрямился, скрестил на груди руки и смотрел на нее, и она припустила от него, не разбирая дороги.

Старому Тейсу еще не было шестидесяти. Пока его жену не уличили в прелюбодеянии, причем

многократно, его звали Молодым Тейсом. После ее смерти фермеры поначалу недоумевали, отчего Старый Тейс не съехал от Чакаты, потому что с его здоровьем и опытом он мог устроиться табачником у кого угодно — здесь, в колонии, или где еще. Но прополз слух, отчего Старый Тейс остался у Чакаты, и впредь этой темы касались только для того, чтобы передать ее сыновьям и дочерям наряду с местными родословными, верными приемами ружейной охоты и сведениями о взрослой жизни.

Первые двенадцать лет своей жизни, даже слыша иногда птичку-«уходи», Дафна имела о ней смутное представление. Она узнала о ней только в школе, на уроках естествознания, и сразу поняла, что голос именно этой птички она слышала всю свою жизнь. Она стала устраивать вылазки, чтобы услышать ее, она напряженно ждала ее голоса, когда вперяла взгляд в пересохшее русло реки или сновала между апельсиновыми деревьями; и, когда Чаката с женой выпивали на веранде рюмочку на ночь, а она свой лимонад, она иногда говорила: «Слышите? Это птичка-„уходи“».

— Нет, — сказал Чаката однажды вечером. — Слишком поздно. В такой час они уже угомо-

нились.

— Нет, это была птичка, — сказала она, и ей было очень важно назвать ее этим простым словом, подобно библейскому голубю или зодиакальному овену.

— Дафна, девочка моя, — сказала миссис Чаката между двумя шумными глотками виски с водой. — Не заводи разговор об этой чертовой птахе. Если этому тебя учат в чертовом интернате…

— Это естествознание, — заступился Чаката. — Очень хорошо, что она интересуется окружающей природой.

Миссис Чаката родилась в колонии. По-английски она говорила с местным голландским акцентом, хотя по происхождению была англичанкой. Поговаривали, правда, о примеси цветной крови, однако ее сморщенная смуглая кожа не служила этому убедительным подтверждением: в колонии у многих женщин был жухлый цвет лица, хотя они не ходили с непокрытой головой и не бывали подолгу на солнце. Их кожу подсушил долгий жаркий сезон и — в равной степени — пристрастие к виски. Почти весь день миссис Чаката лежала на постели в халате-кимоно и курением снимала боли в руках и ногах, причину которых за шесть с лишним лет

не разгадал ни один врач.

Сколько помнила Дафна, во время этих дневных лежаний миссис Чаката держала на столике револьвер. Когда же Чаката на несколько дней и ночей отлучался с фермы, Дафна ночевала в комнате миссис Чакаты, а перед дверью спальни устраивался на временном ложе Тики Толбот, веснушчатый англичанин, объездчик у Чакаты. Он лежал в обнимку с ружьем и втихомолку посмеивался над этой дурью.

Время от времени Дафна интересовалась, зачем все эти предосторожности. «На мантов нельзя положиться», — отвечала миссис Чаката, называя туземцев местным словом. Вот этого Дафна никак не могла понять, потому что подопечные Чакаты были лучшими в колонии, на этом все сходились. Ей приходила смутная мысль о том, что это, должно быть, пережиток обычая, сложившегося еще во времена первопоселенцев, когда белых часто убивали во сне. Память об этом осталась, и в необъятных сельских районах колонии предания о минувших расправах и расплатах находили себе место и в сегодняшней жизни. Но давным-давно переумирали вожди, рассеялись воины, и теперь все недоразумения улаживали окружные комиссары. Подросшая Дафна считала

большой глупостью со стороны миссис Чакаты и подобных ей столь основательно вооружаться против такого призрака, как мятеж на ферме. И только с водворением семьи Коутсов на соседней ферме, в тридцати пяти милях от них, Дафна узнала, что далеко не все взрослые женщины в колонии живут так же настороже, как миссис Чаката.

Семья Коутсов, где были две девочки помоложе ее и два мальчика постарше, появилась в округе, когда Дафне было двенадцать лет. В первые же школьные каникулы ее пригласили погостить. Мистер Коутс был на охоте, дома остались жена и дети. Единственный европеец поблизости, молодой женатый агроном-новичок, жил на их участке в двух милях от дома. Дафну положили на раскладушке в спальне миссис Коутс. Она отметила, что при хозяйке нет револьвера и за дверью не выставлен караул.

— Вы не боитесь мантов? — спросила Дафна.

— Господи, с какой стати? У нас замечательные ребята.

— А тетушка Чаката всегда ложится с пистолетом.

— Так она, может, боится, что ее изнасилуют?

В колонии все дети знали это слово; изнасило-

вание было тягчайшим преступлением, и еще недавно колония время от времени бурлила, прослышав о случаях изнасилования, не разбирая виноватого — белый он или черный.

Для Дафны было откровением, что миссис Чаката может бояться изнасилования, а не убийства, как она всегда думала. Она взглянула на миссис Коутс озадаченно: «Кто же у нас может изнасиловать тетушку Чакату?» Миссис Коутс улыбнулась и ничего не ответила.

На прогулках с младшими Коутсами Дафна часто слышала птичку-«уходи». Однажды они шли через маисовое поле и Джон, старший из мальчиков, спросил Дафну:

— Почему ты все время замираешь на ходу?

— Я слушаю птичку-«уходи», — сказала она.

Ее лицо затеняла широкополая шляпа, вокруг стеной поднимался маис выше ее головы. Джон Коутс, ему было шестнадцать, скрестил на груди руки и уставился на нее, потому что странно, чтобы маленькая девочка знала о птичке-«уходи».

— Что ты смотришь? — спросила она.

Он не ответил. Маис достигал ему до плеч. Он был в смятении и, чтобы не выдать своих чувств, продолжал смотреть на нее, скрестив на груди руки.

— Не стой так, — сказала Дафна. — Ты похож на Старого Тейса.

Джон рассмеялся. Он ухватился за возможность сбросить напряжение и оправдать свою позу.

— Достается вам от Старого Тейса, — сказал он.

— Старый Тейс — лучший табачный баас в стране, — одернула она его. — Дядя Чаката любит Старого Тейса.

— Нет, он его не любит, — сказал Джон.

— Нет, любит, иначе не оставил бы у себя.

— Детка, — сказал Джон, — я знаю, почему Чаката оставил у себя Старого Тейса. И ты знаешь. Все знают. Совсем не потому, что он его любит.

Они пошли догонять ребят. Дафна ломала голову, почему Чаката оставил у себя Старого Тейса.

Они выпросили поездку в дорп. Семья Коутсов не возбраняла себе говорить на африкаанс и заводила со встречными клокочущий в горле разговор, а Дафна тушевалась, понимая лишь его обрывки.

У машины сговорились встретиться в пять, сейчас было только половина третьего. Дафна не стала тянуть и, отделившись от остальных, через почту прошла на задний двор, где перед горшком с маисовой кашей сидели на корточках туземцы. По-детски любопытные, они смотрели, как она

проходит мимо их хижин и уборных и ступает на санитарную дорожку в конце двора.

Дафна перебежала через поле и крутой тропкой полезла на холм Дональда Клути. Холм носил это имя, поскольку Дональд Клути был его единственным обитателем, остальные лачуги стояли пустые.

Дональд Клути в свое время учился в Кембридже. В доме он держал на стене две фотографии. На одной Дональд был снят с крикетной командой, и узнать его было нелегко из-за пышных, подвитых усов и в одном ряду с такими одинаковыми молодыми людьми, своей каменной самоуверенностью напоминавшими Дафне героев-первопоселенцев с картинок. Под фотографией стояла дата: 1898. На другом групповом снимке Дональд в форме стоял с боевыми товарищами из авиации сухопутных войск. Здесь дата была — 1918, но благодаря усам Дональд выглядел немногим старше, чем на кембриджском снимке.

Дафна просунула голову в открытую дверь и увидела Дональда в ветхом плетеном кресле. Его белая рубашка была заляпана свеклой.

— Ты пьяный, Дональд, — вежливо спросила она, — или трезвый?

Дональд всегда говорил правду.

— Я трезвый, — сказал он. — Заходи.

В свои пятьдесят шесть лет он уже очень мало походил и на молодого кембриджского крикетиста, и на пилота АСВ[1]. Он сменил не одну сотню работ, женился и уступил жену человеку помоложе и поэнергичнее. Последние восемь лет он как никогда чувствовал себя устроенным в жизни: он был секретарем совета в дорпе, по работе ему не требовалось быть особенно пунктуальным, прилежным, собранным, не требовалось прилично выглядеть, а именно этих качеств Дональд не имел. Иногда он являлся на ежемесячное заседание совета с опозданием и пьяный, и тогда председатель указывал ему на дверь и ставил вопрос об увольнении. Иногда они единогласно увольняли его, и после заседания ему сообщалось решение. А на следующий день Дональд опрятно одевался и шел к мяснику с рассказом об АСВ; потом шел к директору школы, который окончил Кембридж несколькими годами после него; обойдя всех членов совета, он брался за округ, проезжал на велосипеде многие мили, следя, чтобы в положенных местах были ограды, чтобы

---

[1] Примечания: 1

Авиация сухопутных войск.

поваленные дождями дорожные знаки были восстановлены в лучшем виде. И уже к концу недели никто не вспоминал об увольнении Дональда. После этого он умерял рвение, и если за неделю ему случалось зарегистрировать рождение или смерть — это была хорошая рабочая неделя.

— Кто тебя привез с фермы? — спросил Дональд.

— Тики Толбот, — сказала Дафна.

— Рад тебя видеть, — сказал Дональд и крикнул слуге приготовить чай.

— Еще пять лет — и я поеду в Англию, — сказала Дафна, заводя обычный разговор, поскольку сразу начинать с того, ради чего она пришла, она не считала правильным.

— Самое милое дело, — сказал Дональд. — Тебе поехать в Англию — это самое милое дело.

И он в который раз принимался рассказывать о заливных лугах в Кембридже, о деревенских пивных, о живых изгородях и канавах, о всадниках в красных камзолах.

С большими чашками в руках вошел слуга Дональда. Одну он подал Дафне, другую — Дональду.

Какие маленькие реки в Англии, рассказывал Дональд, а ведь никогда не высыхают. Какие ма-

ленькие поля, на пальцах пересчитаешь их акры, а среди хозяек не встретишь ни одной стервы, потому что все занимаются своим делом и собачиться им некогда. А весной в своих поместьях аристократы вкушают чай в длинных галереях, и блеклый солнечный свет струится сквозь створчатые окна на потускневшие виндзорские кресла, и пахнут гиацинты…

— Понятно. Теперь расскажи про Лондон, Дональд. Расскажи про театры и биоскопы.

— Там не говорят «биоскопы», там говорят «кино» или «картина».

— Послушай, Дональд, — решилась она, потому что было уже двадцать минут пятого, — скажи мне честно одну вещь.

— Выкладывай, — сказал Дональд.

— Почему дядя Чаката держит у себя Старого Тейса?

— Я не хочу остаться без работы, — сказал он.

— Честное слово, — сказала она, — я тебя не выдам, если ты расскажешь про Старого Тейса.

— Эту историю знает вся колония, — сказал Дональд, — но первый же, кто расскажет ее тебе, будет иметь дело с Чакатой.

— Помереть мне на этом месте, — сказала она, — если я проболтаюсь дяде Чакате.

— Сколько, ты говоришь, тебе лет? — спросил Дональд.

— Скоро тринадцать.

— Так это случилось за два года до твоего рождения — стало быть, пятнадцать лет назад, — когда Старый Тейс…

В свое время Старый Тейс женился на девушке-голландке из Претории. Задолго до того, как определиться на работу к Чакате, он знал, что жена ему изменяет. Эти измены имели одну особенность: ее интересовали исключительно англичане. Молодые англичане-колонисты в хозяйствах, где работал Тейс, заслуженно или незаслуженно выслушивали от него обязательное: «Ты совершил прелюбодеяние с моей женой, ты свинья». Завязывалась драка, либо Тейс припугивал ружьем. При любом исходе и независимо от того, были эти молодчики любовниками его жены или не были, Тейса обычно гнали с работы.

Поговаривали, что он собирается пристрелить жену под видом несчастного случая. И только широкая огласка его намерений не позволяла ему осуществить этот план, если, конечно, он замышлял это всерьез. Само собой, он поколачивал ее время от времени.

Тейс рассчитывал со временем обзавестись

собственной фермой. Чаката знал о его неприятностях и взял к себе табачником. Он дал им домик, они въехали.

— Чуть какая неприятность с супругой, Тейс, — сказал Чаката, — сразу ко мне, потому что мы страна молодая, на одну белую женщину четверо белых мужчин, и тут уж без неприятностей не обойтись.

Неприятность произошла уже в первую неделю — с полицейским.

— Знаешь что, Тейс, — сказал Чаката, — я с ней потолкую.

В жизни ему часто выпадала эта тягостная обязанность — укорять слуг за распущенность. В доме Паттерсонов, в Англии, без этого не обходилось и дня.

Хэтти Тейс не была красавицей, она, прямо сказать, была драная кошка. Однако Чаката не только не смог ее вразумить, но еще и с собой не совладал. Она плакала. Говорила, что ненавидит Тейса.

Здесь Дональд прервал рассказ и дал справку.

— В Англии, чтоб ты знала, такие вещи немыслимы.

— Правда? — сказала Дафна.

— Нет, любовные связи там есть, только они

налаживаются постепенно. Отношения с женщиной надо строить. В Англии мужчина с положением Чакаты может разжалобиться, если шлюха пустит слезу, но он не ляжет с ней сию же минуту в постель. И климат там холоднее, и девушек больше.

— Понятно, — сказала Дафна. — А что потом сделал дядя Чаката?

— После того как он свалял дурака, ему стало стыдно. Он сказал ей, что это была минутная слабость, что это в первый и последний раз. Только это не был последний раз.

— Тейс узнал об этом?

— Тейс об этом узнал. Он пошел к миссис Чакате и попытался ее изнасиловать.

— И что-нибудь вышло?

— Нет, ничего не вышло.

— Наверное, от нее пахло перегаром. Наверное, это его и отпугнуло.

— В Англии, — сказал Дональд, — девочки в твоем возрасте не очень разбираются в таких вещах.

— Понятно, — сказала Дафна.

— Там все по-другому. Так вот, миссис Чаката пожаловалась Чакате, просила его пристрелить Тейса. Чаката, конечно, не послушался и, наобо-

рот, дал Тейсу повышение, сделал управляющим на сушильнях. С того дня Чаката не видел миссис Тейс, даже не глядел на нее. Увидит ее около фермы и сразу смотрит в другую сторону. Тогда она написала ему, что безумно его любит и если он не допустит ее к себе, то она застрелится. Она написала печатными буквами на африкаанс.

— Чаката не станет отвечать на такое письмо, — сказала Дафна.

— Совершенно верно, — сказал Дональд, — и миссис Тейс застрелилась. Старый Тейс поклялся, что однажды расквитается с Чакатой. Поэтому миссис Чаката и спит с ружьем. Она умоляла Чакату избавиться от Старого Тейса. И конечно, надо бы избавиться.

— Он не сделает этого, ты же понимаешь, — сказала Дафна.

— Его удерживают только угрызения совести, — сказал Дональд, — и английская честь. Если бы Старый Тейс был англичанином, Дафна, он бы уже давно убрался с фермы. А этот — нет, на Библии поклялся, что дождется расплаты.

— Наверное, все дело в нашем климате, — сказала Дафна. — Мне никогда не нравилось, как Старый Тейс смотрит на меня.

— Колония — дикое место, — сказал Дональд.

Он встал и налил себе виски. — Я допускаю, что мы справились с туземцами. Допускаю, что справились с леопардами…

— А Мозес? — сказала Дафна. Два года назад ее друга детства загрыз леопард.

— Это единственный случай. Мы начинаем справляться с малярией. Но мы не справились с дикарем, который сидит в нас самих. И в такой глуши, как наша, он лезет наружу.

Он допил и налил себе еще.

— Если ты уедешь в Англию, — сказал он, — не возвращайся назад.

— Понятно, — сказала Дафна.

К машине она пришла, опоздав на десять минут. За нее уже беспокоились.

— Куда ты девалась? Пропала куда-то… Мы всех спрашивали…

Джон Коутс, паясничая, сказал девчоночьим голосом:

— Она бродила по вельду и слушала птичку-«уходи».

* * *

«Еще пять лет — и я поеду в Англию. Еще четыре года… Еще три…»

Между тем жизнь в колонии с каждым годом становилась интереснее. Собственно говоря, жизнь оставалась такой же, как всегда, но с годами Дафне открывалось больше интересных сторон в ней.

Она ездила в Кению погостить у замужней кузины, ездила с миссис Коутс в Иоганнесбург обновить гардероб.

— Совсем английской красоткой становится Дафна, — говорил Чаката.

На самом деле она была совсем не по-английски светлой, она пошла в отцову родню, кейптаунских дю Туа, смешавших голландскую и гугенотскую кровь.

В шестнадцать лет она сдала экзамены в столичный педагогический институт. На каникулах она флиртовала с Джоном Коутсом, тот катал ее на маленьком немецком «фольксвагене», который ему расстарался достать отец. В воскресенье днем они ехали в «Уильямс-отель» на главном шоссе выпить чаю и искупаться в бассейне — туда каждый выходной выбирался из своих углов весь округ.

— В Англии, — говорила Дафна, — можно купаться в реках. Там нет ни глистов, ни крокодилов.

— В Европе скоро будет война, — сказал Джон.

Дафна сидела на веранде в новых полотняных брюках, потягивала джин с лаймовым соком и радостно изумлялась тому, что она взрослая, что с ней здороваются соседи.

— Привет, Дафна, как у вас с маисом?

— Не жалуемся, а у вас?

— Здравствуй, Дафна, что у вас с табаком?

— Старый Тейс говорит — сгнил.

— Я слышал, Чаката продал «Стрелку».

— Предложение было выгодное.

Она дважды выбиралась в «Уильямс-отель» на танцы. Молодой Билли Уильямс, учившийся в Кейптауне на врача, сделал ей предложение, хотя полагалось бы знать, что ей надо кончить институт, потом два года пожить в Англии у тамошних Паттерсонов и уж потом думать о замужестве.

Война началась, когда она только-только приступила к занятиям в институте. Все ее старые и новые кавалеры интригующе выросли в ее глазах, когда надели форму и стали наезжать в краткосрочные отпуска.

Она увлеклась гольфом. Порой, загнав мяч в лунку и переходя к другой метке, она отставала от партнеров или вовсе замирала на месте.

— Тебе нездоровится, Дафна?

— Нет, просто я слушаю птичку-«уходи».

— Орнитологией интересуешься?

— Больше всего на свете.

Когда после первого семестра в институте она приехала на ферму, Чаката дал ей револьвер.

— Перед сном клади рядом, — сказал он. Она без слов взяла его.

На следующий день он спросил:

— Где ты была вчера днем?

— Так, ходила в вельд.

— А куда именно?

— В крааль Макаты. Он ни в какую не хочет упускать тот участок, на который зарятся Бересфорды. Он подыскал для сына жену, отдал за нее пять голов скота.

Маката был местный вождь. Дафна любила, опустившись на корточки, выпить специально для нее приготовленный чай в полумраке просторной грязной хижины вождя, и, хотя в колонии косо смотрели на такие визиты, Чаката и его дети никогда ими не пренебрегали, и ни у кого недоставало духу переговорить на этот счет с Чакатой. Чаката был сам себе господин.

— Ты, конечно, — сказал он Дафне, — всегда берешь с собой ружье?

— Честно говоря, — сказала Дафна, — вчера не брала.

— Всегда, — сказал Чаката, — бери с собой ружье, когда идешь в вельд. Это как закон. Ничего нет обиднее, когда в буше резвится антилопа, а ты стоишь без ружья дурак дураком.

Этому закону она была послушна с восьми лет, едва научившись стрелять. Сколько раз она одна уходила в вельд, сгибаясь под тяжестью ружья, сколько раз видела антилоп — и даже не подумала стрелять. Тем более что не любила дичь. Она обожала консервированную лососину.

Казалось, он прочел ее мысли:

— Нам не хватает мяса для собак. Не забывай: сейчас военное время. Не забывай всегда брать с собой ружье, — сказал Чаката. — Я слышал по радио, — добавил он, — что в долине Темве объявился леопард. Подлец нападает на молодых. Он уже задрал двух парней.

— Дядя Чаката, это же на краю света! — возмутилась Дафна.

— Леопарды одолевают большие расстояния, — сказал Чаката. У него был очень раздраженный вид.

— Понятно, — сказала Дафна.

— Тебе надо больше ездить верхом, — сказал

он, — это полезнее, чем ходить.

Она понимала, что вовсе не встреча с леопардом тревожила его и что мяса собакам хватало, и она вспомнила, как вчера за ней до самого крааля шел Старый Тейс. Он держался кустов и наверняка думал, что его не обнаружили. К ее радости, по пути ей попадались туземцы. Когда она уходила от Макаты, тот предложил ей в провожатые своего племянника. Это было в порядке вещей, и обычно Дафна отклоняла предложение. А в этот раз она согласилась на конвой, который плелся за ней всю дорогу и у самой фермы был отпущен. Про этот случай Дафна ничего не сказала Чакате.

Когда в тот день она отправилась чаевничать в миссию, при ней было оружие.

Назавтра Чаката передал в ее распоряжение старый «мерседес».

— Ты очень много ходишь, — сказал он.

Считать, сколько лет осталось до поездки в Англию, теперь не имело смысла. Она поднялась на холм Дональда Клути:

— Ты трезвый, Дональд, или…

— Я пьяный, уходи.

На последнем курсе института, проводя дома рождественские каникулы, она отправилась вер-

хом по широкому большаку в дорп. Она сделала покупки, задержалась поговорить с портным-киприотом, одевавшим весь округ в тиковые шорты, и с сефардом[2], державшим самую большую лавку для кафров.

«Живи и давай другим жить», — разрешал Чаката. Но к ним на ферму эти люди не ездили, и у Дафны не было другого случая рассказать им про институтскую жизнь.

Она зашла в индийскую прачечную и передала бутылочку масла для волос, которую Чаката с какой-то стати обещал прислать индусу.

Она выпила чаю с женой аптекаря и вернулась к полицейскому участку, где оставила лошадь. Там она еще не меньше часа проболтала с двумя полицейскими, которых знала с детства. Было поздно, когда она выбралась на крутой большак, держась края, подальше от гудронированных полос, по которым изредка проносился автомобиль или проезжал на велосипеде туземец. Она знала всех проезжавших, и те здоровались с ней, притормаживая.

Она проехала около пяти миль, и дорога, с обеих сторон зажатая глухим кустарником, ста-

---

[2] Примечания: 2
Евреи, потомки выходцев с Пиренейского полуострова.

ла делать поворот. Это было гибельное место. Быстро темнело, и, услышав за поворотом приближающуюся машину, она съехала совсем на обочину. И тут с зажженными фарами вылетел автомобиль, и, прежде чем свет ослепил ее, она узнала за рулем Старого Тейса. Поравнявшись с ней, он и не подумал притормозить. Старый Тейс не только не сбросил скорость, но еще съехал с полосы и прошел почти впритирку к лошади.

Дафна знала такую полицейскую байку, что-де свалиться в кусты на закате солнца или уже в темноте — это все равно что голому мужчине явиться в класс, где сидят одни девочки. И когда она сверзилась в темные заросли, все живое, по-женски переполошившись, затрещало, заверещало и захлопало крыльями. Лошадь убежала вперед, сумерки поглотили отчаянный перестук ее копыт. У Дафны нестерпимо болела правая нога. Она не сомневалась, что Старый Тейс остановил автомобиль. Она поднялась и, хромая, сделала несколько шагов в сторону дороги, продираясь через сплошные заросли. И остановилась, услышав близкие шаги. Старый Тейс поджидал ее. Она огляделась и поняла, что сунуться в чащобу и затаиться не было никакой возможности. Тьма над головой сгущалась, нога болела умопомрачи-

тельно. Дафна еще никогда не теряла сознания, даже — был такой случай — когда хотела его потерять: ей делали срочную операцию после змеиного укуса, острым лезвием кромсали ее без наркоза. Сейчас ей показалось, что она может потерять сознание, и ей стало страшно, потому что от дороги хрустел кустами Старый Тейс, и скоро она различила его силуэт. От обморока ее удержал крик туземца, донесшийся с большака, и, чтобы не дать глазам закрыться и не сомлеть, она все шире открывала их, таращась в темноту.

Старый Тейс цепко ухватил ее. Он не сказал ни слова, просто схватил ее за руку, вытянул из кустов и швырнул на землю, куда не доставали огни фар. Дафна завизжала и ударила его здоровой ногой. Старый Тейс встал и насторожился. Цокали копыта. Из-за поворота вышел туземец, ведя в поводу лошадь Дафны. От яркого света лошадь заупрямилась, но туземец держал ее крепко, и тут подошел Старый Тейс забрать ее.

— Убирайся отсюда, — сказал он мальчику по-кафрски.

— Не уходи! — крикнула Дафна.

Туземец остался стоять на месте.

— Я отвезу тебя домой в машине, — сказал Старый Тейс. Он наклонился поднять ее. Она

завизжала. Туземец шевельнулся и подошел ближе.

Дафна поднялась на ноги. Ее всю колотило.

— Дай ему как следует, — велела она туземцу.

Тот не тронулся с места. Она понимала, что он не поднимет руку на Старого Тейса. Европейцы, он знал, своих в обиду не дают, и ударить белого даже в таких обстоятельствах грозило ему тюрьмой. В то же время туземец не собирался уходить, и, когда Старый Тейс наорал на него, он просто отступил на несколько шагов.

— Садись в машину, — крикнул Тейс Дафне. — Ты ушиблась, несчастный случай. Нужно отвезти тебя домой.

Из-за поворота выехал автомобиль, высветил место происшествия и затормозил. Это был мистер Паркер, учитель.

Старый Тейс принялся рассказывать о несчастном случае, но мистер Паркер слушал Дафну, ковылявшую через дорогу.

— Ради бога, отвезите меня обратно на ферму, мистер Паркер.

Он подсадил ее в машину и тронулся. Следом пошел туземец с лошадью. Старый Тейс забрался в свой автомобиль и укатил в другую сторону.

— Я не буду вдаваться в подробности, — сказал

Чаката Дафне на следующий день, — но я не могу уволить Тейса. Это старая история, она случилась еще до твоего рождения. Я перед ним в долгу, тут вопрос чести. Это мужское дело.

— Понятно, — сказала Дафна.

На ферму в тот день Старый Тейс вернулся под утро. Чаката не ложился и ждал его. Дафна слышала, как они переругивались лающими голосами.

Она сидела в постели, вытянув ногу в лубке.

— Нас могут изнасиловать и убить, — сказала миссис Чаката, — но Чаката не расстанется с этим ублюдком. Будь он настоящим мужчиной, он бы давно выставил его пинком под зад.

— Он говорит — у него долг чести, — сказала Дафна.

— Ничего другого у него и нет. Устраивайся как хочешь, — сказала миссис Чаката, — только не выходи замуж за чертова англичанина. Их не заботят жена и дети, их заботит только чертова честь.

Считалось само собой разумеющимся, что в Англию она поедет в сороковом году, когда ей исполнится восемнадцать лет. Но теперь о заморском путешествии не могло быть речи до самого конца войны. Она ходила к полковнику,

к судье, к епископу — просилась в Англию, чтобы вступить там в какое-нибудь подразделение женских вспомогательных служб. Ей объясняли, что для гражданских лиц нет никакой надежды получить разрешение на выезд в Англию. И потом, она же несовершеннолетняя — еще даст ли Чаката свое согласие?

В двадцать лет она предпочла место учительницы в столице любой из женских вспомогательных служб в колонии, поскольку службы эти представлялись ей пустой тратой времени, а тут было настоящее дело.

Ее привлекали повсеместно возникавшие учебные лагеря ВВС. Один расположился в столичном пригороде, и свои досуги она проводила в основном за вечерним коктейлем и танцами в клубной столовой либо выбиралась на выходные куда-нибудь в глушь — поиграть в теннис; она обзавелась множеством знакомых среди молодых летчиков-истребителей, героев Битвы за Англию. Она обожала их всех сразу. Они были сама Англия. Ее друг детства Джон Коутс стал летчиком. Его направили в Англию, но у мыса Доброй Надежды их корабль и конвой подорвались на минах. О его гибели она узнала в свой двадцать первый день рождения.

С одним из новых английских друзей она поехала на панихиду в армейскую церковь. По пути лопнула камера. Машина вильнула с дороги и, визжа тормозами, не сразу остановилась. Молодой человек стал менять камеру. Дафна стояла рядом. Он окликнул ее трижды:

— О'кей. Готово, Дафна!

Она с отсутствующим видом тянула шею.

— Да? — вспомнила она о его присутствии. — Я слушала птичку-«уходи».

— Какую птичку?

— Турако с серым хохолком. В колонии его можно услышать везде. А увидеть почти никогда не удается. Он свистит: «У-хо-ди».

Молодой человек прислушался:

— Ничего не слышу.

— Уже кончил, — сказала она.

— А пеночки у вас водятся? — спросил он.

— Нет, не думаю.

— Они поют: «Бутерброд-без-сыра», — сказал он.

— В Англии они везде есть?

— Наверно. Во всяком случае, в Хертфордшире их пропасть.

Она обручилась с капитаном-инструктором. Через несколько дней он погиб в учебном полете.

О своем доме близ Хенли[3] он рассказывал: «Гиблое место. Река течет буквально через сад. Отец согнулся пополам от ревматизма, но переезжать даже не подумает». Его слова были исполнены для нее особого очарования. «Река течет буквально через сад», и она знала, что эта река — Темза и что сад весь зарос английскими кустами и круглый год стоит зеленый. На похоронах она поняла, что тот сад сгинул в морской пучине. Семья ее жениха жила неподалеку от английских Паттерсонов. «Нет, — говорил он, — по-моему, мы их не знаем». Не укладывалось в голове, что он не знал соседей, которые жили всего в пятнадцати милях от них. «Нет, — писали из Англии Паттерсоны, — мы таких не знаем. Они не из Лондона? Тут много в войну понаехало из Лондона…»

Ей был двадцать один год, и в рождественские каникулы она объявила Чакате:

— Хочу к лету уволиться. Поеду в Кейптаун.

— У тебя опять были неприятности с Тейсом?

— Нет. Просто хочу сменить обстановку. Море хочу увидеть.

— А то я переговорю с ним, если у тебя были неприятности.

---

[3] Примечания: 3

Город в графстве Оксфордшир, где проводится ежегодная Хенлейская регата.

— Ты думаешь от него когда-нибудь избавиться? — спросила Дафна.

— Нет, — сказал он.

Он пытался отговорить ее от Кейптауна в пользу Дурбана. «Дурбан больше похож на Англию». Ему не нравилось, что она будет общаться с отцовой родней, с кейптаунскими дю Туа.

Кейптаун сделал для нее Англию еще притягательнее. Старые солидные голландские дома, сады при коттеджах, зеленые луга, симфонический оркестр, галерея современного искусства — этих европейских картинок оказалось достаточно, чтобы возбудить желание отведать оригинала. Слуги здесь были светлее, чем в колонии, с более европейскими чертами лица, и в этом она видела перекличку с Англией, где слуги белые. «У нас их совсем не осталось, — писали из Англии Паттерсоны, — одна Клара, и то половину времени мы ухаживаем за ней. Она все перезабыла и принимает тебя за твою мать. Жабу она считает дядюшкой Пубой. С тетей Сарой одно мучение. Она считает, что мы крадем ее конфетные обертки».

Дафна мечтала ухаживать за Кларой, выслушивать упреки обкраденной тети Сары, мыть грязную посуду и перелезать через изгороди с

кузинами, которых не видела в глаза. Некоторые ее родственники носили имена героев «Ветра в ивах» — Крыса, Крот, Жаба; другие заимствовали свои прозвища из источников, ей пока неведомых, например, оба ее дяди: Пуба и Динь-Дон. Дю Туа мало что могли уразуметь из английских писем, которые Дафна, шалея от поэзии момента, зачитывала им вслух. «Крыса, — объясняла она, — это Генри Миддлтон, муж Молли. Он служит во флоте…»

— Он что же, плохо с ней обращается?

— Наоборот, страшно ее обожает, — говорила Дафна, перенимая прилипчивый стиль английских писем.

— Тогда что же она зовет его Крысой?

Чаката прав, думала Дафна, английский юмор другим не растолкуешь.

В Кейптауне она ходила в ночные клубы, уверив себя и ни минуты в том не сомневаясь, что все это только жалкая копия лондонского великолепия.

Семейство дю Туа принадлежало к элите африканеров. Английское влияние они принимали терпимо, но сами ему не поддавались. Один их кузен, оксфордский выпускник, воевавший в Северной Африке, приехал на побывку и был

не прочь приударить за Дафной. Но в это самое время она увлеклась морским офицером, который пару недель назад прибыл на изрядно побитом корвете. Рональд, казалось Дафне, из всех, кого она видела, был самый типичный англичанин и самый непосредственный. Корабль, шепнул он ей строго по секрету, задержится в порту на шесть недель. Что, если это время они будут считать себя помолвленными? Конечно, сказала Дафна, очень хорошо. И, не тревожась о том, что могут подумать дю Туа, она провела с ним ночь в приморском отеле. С немыслимым безразличием Рональд обмолвился, что до войны был капитаном деревенской крикетной команды («Положение сквайра обязывает»). Дафна отчетливо увидела частокол стройных ног в белых фланелевых брюках, тенистые вязы, увидела прелестных сестриц в платьях пастельных тонов, матушек в старомодных цветастых нарядах и отцов семейств в канотье, и все дышало свежестью и здоровьем, когда в палатке на берегу озера бледнолицые горничные в черных платьях с белыми оборками обносили гостей лимонадом; Дафна вспомнила палящий зной на ферме Чакаты, запах туземцев и сразу почувствовала себя обрюзгшей, сырой.

Несколько дней спустя она танцевала с Рональдом на вечеринке, которую отель устроил на приморском бульваре, и, пока оркестр играл:

С моря веет легкий бриз,

Обещает сюрприз.

в это же время молодой Ян дю Туа сообщал на семейной сходке, что жених Дафны состоит в браке.

На следующее утро тетя Сонджи переговорила с Дафной.

— У себя дома, — сказала Дафна, — он капитан крикетной команды.

— Это не мешает ему быть женатым человеком, — сказала Сонджи.

К полудню сведения подтвердились, а на закате солнца корвет отплыл.

Извращая логику событий, Дафна решила, что ничего другого не приходится ждать, если живешь с дю Туа. Она переехала в Дурбан и стала осмотрительнее с английскими кораблями. Зачастивший к их берегам американский флот она отставила решительно и сразу.

В дурбанской школе ее коллегой оказался немолодой учитель рисования, приехавший из

Бристоля за несколько лет перед войной. В его глазах Англия была державой варваров, сбившей его со стези художника на преподавательское беспутье. Эту грустную тему он часто поднимал, беседуя с Дафной, но она не слушала. Точнее сказать, она слушала выборочно. «Возьми модного портретиста, — говорил он. — Он заранее готов угодить богатым заказчикам или заказчицам, что бывает чаще. Стремится написать их покрасивше. Зато после может снять дом эпохи королевы Анны где-нибудь в Кенсингтоне, в Челси или в Хампстеде. В мезонине оборудует студию, застеклит фасад. Вот мой знакомый, вместе учились, — он сейчас модный портретист, у него студия с видом на Риджентс-канал, он устраивает приемы, сам всюду бывает, ездит в Хенли, в Эскот, общается с титулованной знатью, с модельерами и киношниками. Вот такие художники преуспевают сегодня в Англии».

В голове у Дафны ярко зажигались слова: «дом эпохи королевы Анны», «Кенсингтон», «Челси», «студия», «Риджентс-канал», «Хенли». Ко всему остальному она была глуха.

— Теперь возьми моего другого приятеля, — продолжал учитель рисования, — тоже со мной учился. У него не было особого таланта — так,

ультрасовременный, но он уперся: хочу быть художником. А чего он добился? Когда я видел его последний раз, ему не на что было купить тюбик краски. Он снимал чердак в Сохо на пару с другим художником — этот, кстати, потом стал известным театральным оформителем, его зовут Дж. Т. Марвел. Не слыхала?

— Нет, — сказала Дафна.

— Его сейчас все знают.

— Понятно.

— А мой приятель, с которым он жил в Сохо, — тот никуда не выбился. Они натягивали через комнату веревку и отделялись одеялами и простынями. Вот в таких условиях живут художники в Сохо. Нашему туземцу живется лучше, чем художнику в Англии.

После этих расхолаживающих речей Дафна млела от новых слов — «Сохо», «поэт», «чердак», «художник».

В 1946 году у нее наконец был билет на пароход. Она заехала попрощаться с Чакатой. Старик сидел с ней на веранде.

— А почему ты никогда не ездил в Англию погостить? — спросила она.

— На ферме всегда дел по горло, — сказал он. — Как все это бросить?

А головой он мотнул назад, в глубину дома, где с виски под рукой и револьвером под боком лежала на постели миссис Чаката. И Дафна поняла, что неудачный брак заказал Чакате дорогу к английским Паттерсонам с женой, а оставить жену в колонии он не мог — даже под присмотром друзей, потому что был порядочным человеком.

— Паттерсоны, наверно, ошалеют, когда послушают про нашу жизнь.

Чаката встревожился.

— Не забывай, что тетушка Чаката — больной человек, — сказал он. — Дома не знают, что такое тропики, и…

— Я все объясню про тетушку Чакату, — сказала она, имея в виду вообще не поддерживать такого разговора.

— Ты умница, — обрадовался он.

Она сходила попрощаться в крааль Макаты. Там был уже новый Маката: старый вождь умер. Новый прошел выучку в миссии, на нем были темно-синие шорты и белая рубашка. Если старый Маката называл соплеменников «мои люди», то теперешний именовал их «мой народ». Обычно она сидела со старым Макатой, поджав ноги, прямо на земле. А теперь было расстелено серое армейское одеяло, на нем стояли два кухон-

ных стула — для вождя и гостя. Дафна сидела на стуле и вспоминала, какой крепкий запах шел от старого Макаты — запах немытого тела. От молодого Макаты пахло карболовым мылом. «Мой народ будет молиться за вас», — сказал он. Он не предложил ей провожатого до фермы, а старый Маката не забывал это сделать.

Она знала, что Старый Тейс шел за ней до краля и теперь наверняка караулил ее на обратном пути. Она шла, размахивая руками, но в кармане шорт у нее был маленький револьвер.

В миле от фермы Старый Тейс вышел на открытое место и направился к ней. В руках он держал ружье. Дафна согнулась и юркнула в кусты. Но здесь они были редкие, и она оставалась на виду. Продираясь сквозь низкий кустарник, она брела в сторону фермы. Сзади хрустел сушняком Старый Тейс.

— Стой! — услышала она. — Буду стрелять.

Она достала пистолет, надо было обернуться и выстрелить прежде, чем он прицелится в нее. Когда же она обернулась, то услышала выстрел и увидела, как ее преследователь упал. Вдалеке трещали кусты, потом с дороги донеслось удаляющееся шуршание велосипедных шин.

Старый Тейс был еще в сознании. Пуля угодила

ему ниже затылка. Дафна окинула его взглядом.

— Я пришлю за тобой людей, — сказала она.

На следующей неделе полиция без особого усердия обследовала туземные деревушки в окрестности. Никакого оружия не нашли. Между тем Дафна явилась в полицейский участок и сказала своему старинному приятелю Джонни Феррейре, что если кого-то — безразлично, белого или черного — потянут за стрельбу в Старого Тейса, то она даст показания в пользу покушавшегося.

— Получается, что Старый Тейс за тобой гнался?

— Да. У меня был револьвер, я хотела стрелять. Но меня кто-то опередил.

— Ты точно не видела, кто в него стрелял?

— Нет. Почему ты так спрашиваешь?

— Потому что ты сказала: черный или белый. Мы склоняемся к мысли, что это туземец, раз у него был велосипед.

— Черный или белый, — сказала Дафна, — не имеет значения. Он исполнил свой долг.

— Это ясно, — сказал Джонни, — но надо бы знать обстоятельства. Ты пойми: знай мы этого человека, у нас есть все основания снять с него обвинение, а к ответу притянуть Старого Тейса,

когда он выйдет из больницы. Чакате давно пора избавиться от этого паразита.

— Но вы же не нашли человека, — сказала Дафна.

— То-то и оно, — сказал он. — Если у тебя будут соображения, дай знать. Подумай хорошенько.

Дафна подъехала на машине к подножию холма Дональда Клути и медленно взошла наверх, то и дело останавливаясь и бросая взгляд на широкую равнину, на маленький дорп, на крыши ферм, едва видные вдалеке. Она подмечала мелочи, словно фотокамера, и как бы впервые, потому что скоро предстояло ехать в Англию.

Она опустилась на камень. В ногах шмыгнула ящерка и пропала в траве.

— У-хо-ди, у-хо-ди.

Птичий голосок стрекнул вперед и утих. Пару раз ей повезло увидеть птичку-«уходи». Это была неяркая, простенькая птичка. Дафна поднялась и полезла дальше.

— Ты т. или п.[4], Дональд?

— Ни то ни се. Заходи.

— Джонни Феррейра, — сказала она, — хочет обвинить Старого Тейса в покушении на мою

---

[4] Примечания: 4
То есть трезвый или пьяный.

жизнь.

— Я знаю, — сказал он. — Его ребята были у меня.

— Что ты им сказал?

— Чтобы искали где-нибудь в другом месте.

Белые, пользовавшиеся велосипедами, были в колонии наперечет, и в их округе велосипед был только у одного. На велосипедах, как правило, ездили туземцы и десяток школьников. Дети все были в школе. Ее неведомым заступником был либо случайно подвернувшийся туземец, либо ехавший по своим делам Дональд. С оружием все тоже было непросто. Редкий туземец, имея оружие, решится обнаружить это незаконное обстоятельство. И совсем редкость — благородный туземец, который рискнет свободой, пальнув в белого.

— Что плохого, если они выдвинут обвинения против Старого Тейса? — сказала Дафна.

— Я им не мешаю, — сказал он. — В добрый час.

— Им нужен очевидец, — сказала она. — Иначе против моего заявления он сделает свое. Его даже могут оправдать после обжалования.

— Пустой разговор, — сказал Дональд. — Я не любитель ходить по судам.

— Все равно, ты прекрасно поступил, Дональд, — сказала она. — Я тебе благодарна.

— Тогда не говори мне про суд.

— Ладно, не буду.

— Тут такое дело, — сказал он. — Чакате — зачем скандал? Может выплыть старая история. Чего только не вылезет, если в суде станут задавать вопросы Старому Тейсу. Зачем это старику Чакате?

— По-моему, он знает, что ты для меня сделал, Дональд. Он тебе очень благодарен.

— Он был бы еще больше благодарен, если бы Старый Тейс был покойник.

— Ты специально подкараулил Старого Тейса или случайно оказался рядом, когда он гнался за мной? — спросила она.

— Ты что-то непонятное говоришь. Я в тот день развозил предупреждения о ящуре. Дел было по горло. Стану я выслеживать Старого Тейса.

— На следующей неделе я уезжаю, — сказала она, — почти на два года.

— Я знаю. Ты не можешь себе представить, какие там зеленые луга. Сколько дождей… Сходи в Тауэр… Не возвращайся сюда.

II

Двадцативосьмилетняя Линда Паттерсон пребывала в постоянном раздражении. Дафна ее не понимала. Сама она обожала дядю Пубу с его ревматизмом и длинными скребницами для шерсти. Ее единственно тревожили его угрозы продать сырой старый дом и поселиться в какой-нибудь гостинице, зато кузина Линда от этих планов только оживала. Ее муж погиб в автомобильной катастрофе. Она не чаяла вырваться отсюда и найти работу в Лондоне.

— Как ты могла бросить свой прекрасный климат и приехать в этот ужас? — спрашивала Линда.

— Это же Англия, — отвечала счастливая Дафна.

Вскоре после ее приезда тетя Сара, которой было восемьдесят два, сказала ей:

— Дорогая, так у нас дело не пойдет.

— Какое дело?

Тетя Сара вздохнула:

— Ты отлично понимаешь, о чем я говорю. Мои ночные сорочки из искусственного шелка. Все три лежали в шкафу — зеленая, кремовая

и розовая. Сегодня утром они пропали. Кроме тебя, взять их некому. Клара вне подозрений, да и как бы она смогла, если она не может одолеть лестницу? У бедняжки Линды еще от приданого остались…

— Что вы такое говорите? — сказала Дафна. — Что вы говорите?

Тетя Сара вынула из игольника иглу и уколола Дафну в руку.

— Это за то, что ты крадешь мои рубашки, — сказала она.

— Надо отправлять ее в приют, — сказала Линда. — У нас даже приходящая прислуга больше недели не задерживается — тетя Сара всех обвиняет в воровстве.

— Кстати, — сказал Пуба, — если бы не эта идея, она практически в здравом уме. Это поразительно для ее возраста. Вот бы заставить ее осознать, какая непроходимая глупость эта идея…

— Надо отправлять ее в приют.

Пуба вышел взглянуть на барометр и уже не вернулся.

— Вообще-то я не обижаюсь, — сказала Дафна.

— Сколько из-за нее лишней работы, — сказала Линда. — Сколько неприятностей.

На следующий день, когда Дафна мыла на кухне

пол, вошла тетя Сара и встала посреди лужи.

— Монастырский бальзам, — сказала она. — Я оставила в ванной комнате полную бутылку, и она пропала.

— Я знаю, — сказала Дафна, елозя по полу, — я ее взяла в минуту слабости, но сейчас она на месте.

— Отлично, — сказала тетя Сара и засеменила прочь, потянув за собой лужу. — Но больше так не делай. У твоей матери была эта слабость — воровство, я помню.

В апреле было еще по-зимнему холодно. Когда хотелось покурить, Линда с Дафной шли в библиотеку — к электрическому камину с одной спиралью: от табачного дыма у Пубы начинался приступ астмы.

У Линды был роман с адвокатом, и выходные она проводила в Лондоне. Когда в доме появилась Дафна, стало возможным прихватывать будни и даже пропадать на неделю. «Дафна, — звонила она, — ты еще продержишься без подкрепления? Для меня это очень важно».

С дядюшкой Пубой Дафна ходила на прогулки. Ей приходилось делать шаги покороче, чтобы подстроиться к его неторопливой поступи. Наезженными дорогами они доходили до реки, которую в разговоре Дафна обязательно называла

Темзой, — впрочем, это и была Темза.

— До самой Темзы ходили, — вернувшись, говорила она Линде.

Дальше местного шлюза они не уходили и на зеленые луга с роскошными овцами не сворачивали.

Родственники ее земляков пригласили ее в Лондон. Она приняла приглашение и предупредила Линду, что в такие-то дни ее не будет дома.

— Погоди, — сказала Линда, — на следующей неделе я буду в Лондоне. Пойми, это важно. Кому-то надо остаться с Пубой и тетей Сарой.

— Понятно, — сказала Дафна.

Линда повеселела.

— Может, ты съездишь через неделю?

— Нет, мне нужно на следующей неделе, — спокойно объяснила Дафна.

— Кому-то надо остаться с Пубой и тетей Сарой.

— Понятно.

Линда заплакала.

— Я напишу своим друзьям, — сказала Дафна, — и все объясню.

Линда вытерла слезы и сказала:

— Тебе не понять, что это такое: целые годы жить в этом склепе с двумя капризными стари-

ками и беспомощной Кларой.

В отсутствие Линды на выходные приехали родственники: Молли, Крыса, Крот и парнишка по прозвищу Стручок. Крот был неженатый кузен. Дафна выразила желание повидать Кембридж. Он сказал, что это можно устроить. Она сказала, что скоро, возможно, поедет в Лондон. Он сказал, что с удовольствием повидает ее там. Тетя Сара уколола парнишку в руку, а Молли и Крыса отвели Дафну в сторонку и посоветовали как можно скорее убраться из этого дома. «Здесь нездоровая атмосфера».

— Это же типично английская атмосфера, — сказала Дафна.

— Господи, твоя воля! — сказал Крыса.

Наконец ей удалось на неделю уехать в Лондон к родственникам своих земляков. Дафне говорили, что они состоятельные люди, и она не поверила своим глазам, когда такси подъехало к узкому дому на невзрачной улочке с длинным рядом гаражей на противоположной стороне.

— Вы уверены, что мы правильно приехали? — спросила она шофера.

— Чампион-Мьюз, двадцать пять, — сказал тот.

— Правильно, — сказала Дафна. — Значит,

здесь.

Перед ее отъездом Линда сказала ей:

— Чампион-Мьюз? Должно быть, богатые люди. Мечтаю жить в конюшне[5].

Дафна запомнила эти слова.

Внутренний вид дома был много выигрышнее. Она пересмотрела свое отношение и за обедом не кривя душой высказала хозяйке:

— В какой замечательной конюшне вы живете.

— Правда? Нам очень повезло — дом буквально рвали из рук.

Миссис Придэм была элегантная женщина средних лет. Мистер Придэм был хирург-косметолог.

— Я не буду бестактно выпытывать, — сказал он Дафне, — каким опасностям вы подвергались в кромешно темной Африке.

Дафна рассмеялась.

— Вам, разумеется, нужен сезон, — сказала миссис Придэм. — Вы что-нибудь предприняли?

— Я пробуду здесь не меньше двух лет.

Сообразив, что речь идет о лондонском сезоне,

---

[5] Примечания: 5

Мьюз — старые конюшни, перестроенные под жилье и гаражи. В Лондоне несколько таких кварталов.

она добавила:

— Нет, я ничего не предприняла. Зато мой дядя писал сюда своим друзьям.

— В этом году уже можно не успеть, — сказала миссис Придэм.

— Вообще-то, — сказала Дафна, — я просто хочу посмотреть Англию. Мне хочется увидеть Лондон. Тауэр. Повидать друзей дяди Чакаты.

— В Тауэр я свожу вас завтра днем, — сказал мистер Придэм.

Он сдержал слово, и после они еще съездили в Ричмонд и Кенсингтон. На площадке для игр он остановился.

— Дафна, — сказал он, — я вас люблю.

И прижал свои стариковские губы к ее губам.

Когда он наконец отлепился, она незаметно, чтобы не обидеть его, вытерлась платком. Однако пришлось сказать, что в колонии ее ждет жених.

— Боже, как плохо я поступил. Я плохо поступил?

— Дафна помолвлена с каким-то счастливчиком в своей Африке, — сказал он за обедом. С ними сидел Крот. Он поднял на Дафну глаза. Она ответила беспомощным взглядом.

Миссис Придэм посмотрела на мужа и сказала:

— Вам нужен лондонский сезон, а уж потом

все остальное. Поживите у нас эти шесть недель. Мне не впервой вывозить девушку в свет. Мы, конечно, поздновато спохватились, и все-таки…

— Поживите у нас, — сказал мистер Придэм.

Когда Дафна открыла Кроту секрет своей «помолвки», он сказал:

— Тебе нельзя оставаться у Придэмов. Я знаю, у кого ты можешь остановиться: у матери одного моего приятеля.

Миссис Придэм огорчилась, когда Дафна объявила, что дольше недели не сможет задержаться. В оставшиеся дни миссис Придэм буквально навязывала ее своему мужу, частенько оставляла их наедине, вдруг убегала по делам, заблаговременно напросившись в попутчицы к кому-нибудь с машиной, и Дафна оставалась обедать в компании с одним мистером Придэмом.

— Ей в голову не приходит, какой он на самом деле, — призналась она Кроту. — Такое впечатление, что она нарочно толкает его ко мне.

— Она хочет разогреть его, — сказал Крот. — Многие так делают. Берут в дом девушек, чтобы расшевелить у своего старика воображение. А потом девушек удаляют.

— Понятно.

* * *

Она переехала на полный пансион к матери Майкла, приятеля Крота. Договорились заочно — письмом.

Майкл Касс был худ, долговяз и курнос. Его определили помогать на бирже дяде-маклеру, но дело у него не заладилось. Он постоянно хихикал. Он жил с матерью, и та по-своему гордилась его глупостью. «Майкл, — говорила она Дафне, — непроходимый болван...» В войну, рассказывала она ей, она жила в Беркшире. Майкл приехал на побывку. Однажды днем она дала ему продовольственную книжку и отправила за пачкой чая. Он вернулся только на следующее утро. Вручил матери чай и объяснил, что его задержали пересадки.

— Какие пересадки? — спросила мать.

— С поезда на поезд — Лондон неблизко.

Выяснилось, что за пачкой чая он ездил в «Фортнум»[6], поскольку не мог даже предположить, что чай продают в деревне и вообще где угодно, не обязательно в «Фортнуме». Дафна решила, что это очень по-английски.

Теперь Майкл жил у матери на Риджентс-парк.

---

[6] Примечания: 6
Универсальный магазин в Лондоне.

Грета Касс тоже была долговязая, как ее сын, но с долговязостью справлялась успешно: свои поджарые пять футов десять дюймов росту[7] она подавала таким образом, что даже сутулые плечи, впалая грудь и колючие локти обращались в достоинство. Она говорила протяжно и в нос. Жила на алименты и плату с жильцов.

С Дафны она драла нещадно, и Дафна понимала, что выходит многовато, но простодушно считала Грету Касс достойной матерью своего сына, женщиной недалекой и обретавшейся в нереальном мире, где деньги не имеют цены и поэтому можно легко переоценить наличность своего жильца. Оголодав, Дафна частенько выбегала в кафе перехватить бутерброд. Поначалу она решила, что светские дамы просто не приучены думать о еде, но, увидев, как Грета Касс умеет наворачивать за чужой счет, пересмотрела свое мнение и домашнюю бережливость Греты отнесла за счет ее бестолковости в практических делах. Грета как могла оправдывала это предположение — например, забывала вернуть Дафне сдачу с фунта либо уходила на весь день, не оставив в доме ничего на обед.

---

[7] Примечания: 7
Около 178 см.

Зато не приходилось сомневаться, что она действительно светская дама, чего нельзя было сказать о родственницах Дафны. Правда, Молли и Линда представлялись ко двору, и на фотографиях Дафна видела свою мать и тетю Сару в шляпах с перьями и в длинных платьях — тогда еще за этим следили строго. И все-таки они не были светскими дамами. Дафна часто задумывалась о Грете Касс, которая недаром же была племянницей епископа и графской кузиной. Однажды она выбралась на конец недели повидать Пубу и в разговоре с мисс Барроу, достопримечательной старой девой, заглянувшей к ним на чай, упомянула Грету Касс. К изумлению Дафны, она оказалась ровесницей Греты, эта женщина в допотопном, мужского покроя плаще, с потрескавшимися от работы в саду руками, с лицом, потрескавшимся от непогоды. Они учились в разных школах, но в одно время, и в один год были представлены.

— Все-таки странно, — сказала она потом Пубе, — что такие разные люди, как миссис Касс и мисс Барроу, в свое время получили одинаковое воспитание.

На словах он согласился с нею:

— Пожалуй, да, — но он, наверняка, не понял,

что она находила тут странного.

Она вернулась на Риджентс-парк. Грета Касс устроила в ресторане в Вест-Энде званый обед, после которого еще сидели до утра в ночном клубе. Было приглашено человек двадцать молодежи, в основном подросткового возраста, отчего Дафна почувствовала себя старухой, и ей не стало легче оттого, что присутствовало несколько человек в возрасте Греты. Само собой, пришел Майкл. Но Дафна не принимала его всерьез, хоть он и был англичанин.

За этим званым обедом последовал еще один, потом еще.

— Может, пригласить Крота? — спросила Дафна.

— Видите ли, — сказала Грета, — весь смысл в том, чтобы вы повидали новых людей. Но если хотите, то конечно…

Счет за эти обеды поглотил половину ее годового содержания. Вторая половина ушла на завтраки с многочисленными приятельницами Греты. Дафна жаждала объяснить миссис Касс, что даже не предполагала, какие обязанности на себя берет, став ее жилицей. Ее не надо развлекать, потому что единственным ее желанием

было пожить у интересных людей. Дафна не нашла в себе смелости сказать это Грете, которая была мастерица напустить туману, уйти от ответа и непроницаемо замкнуться. И она попросила у Чакаты еще денег. «Когда я отгуляю свое, — писала она, — я, конечно, устроюсь работать».

«Надеюсь, ты хоть краем глаза видишь Англию, — отвечал тот, выслав чек. — Рекомендую поездить с автобусными экскурсиями. Говорят, они замечательные, могу только позавидовать тебе, потому что в мое время ничего такого не было».

Она редко внимала советам Чакаты, поскольку в большинстве своем они были неисполнимы. «Сходи в банк и познакомься с Мерривейлом, — писал он. — Как меня в свое время, он угостит тебя хересом». Расспросы в банке ничего не дали.

«Слышал когда-нибудь о таком — Мерривейл?» — спрашивали друг друга клерки. «Вы не перепутали отделение?» — спрашивали они Дафну.

— Нет. Он был заведующим.

— Извините, мадам, но у нас никто не знает такого. Должно быть, он работал здесь очень давно.

— Понятно.

Со временем она перестала отвечать на вопро-

сы Чакаты: «Ты уже побывала в Хэмптон-Корте?», «Ты ходила в банк к Мерривейлу? Он угостит тебя хересом…», «Ты устроилась с поездкой по Англии и Уэльсу? Надеюсь, ты не отказалась от намерения увидеть сельскую Англию?»

«Я не нашла твоего сапожника на Сент-Ползчарчьярд, — писала она ему, — там все разбомбили. Лучше тебе рассчитывать на того мастера в Иоганнесбурге. У меня все равно не получится заказать тебе нужную обувь».

А потом она вообще стала обходить молчанием его просьбы и советы и просто отчитывалась, какие у нее были приемы, ради него приукрашивая рассказ. Похоже, он не очень внимательно читал ее письма, поскольку ни разу не завел речь об этих приемах.

Как-то днем Грета явилась домой с крошечным пуделем. — Он ваш, — сказала она Дафне.

— Какая дивная прелесть! — сказала Дафна, полагая, что это подарок, и желая выразить свою признательность словами, принятыми в этом кругу.

— Я не могла не взять его для вас, — сказала Грета и потребовала сто десять гиней.

Скрывая отчаяние, Дафна пылко зарылась лицом в пуделиные кудри.

— Нам ужасно с ним повезло, — продолжала Грета. — Ведь это не просто мелкий пудель, это именно карликовый.

Дафна выписала ей чек и пожаловалась Чакате на лондонскую дороговизну. Она решила осенью пойти работать, а пока отказаться от двухнедельной автомобильной поездки по северу, которую планировала на компанейских началах с Молли, Крысой и Кротом.

Чаката прислал деньги в счет будущего квартала. «Прости, что не могу больше. На лошадей напала цеце, а какой уродился табак, везде писали». Она не читала про неурожай табака, но что год на год не приходится, она и так знала. Ей были внове трудности Чакаты, поскольку она считала его весьма состоятельным человеком. Немного спустя друзья написали ей из колонии, что обосновавшиеся в Кении дочь и зять Чакаты были убиты мау-мау. «Чаката просил не говорить тебе, — писали они, — но мы решили, что лучше тебе знать. Чаката теперь воспитывает двух мальчиков».

Была середина мая. По договоренности ей оставалось жить у миссис Касс до конца июня. Но она сняла трубку и позвонила Линде, что возвраща-

ется к ним. Греты дома не было. Дафна собрала вещи и с Пушком (пудель) на коленях бесстрашно ожидала ее возвращения, чтобы объявить о своем банкротстве.

Первым пришел Майкл. В руках он нес пустую клетку и картонную коробку с проверченными дырочками. Когда коробку открыли, из нее всполошенно прянула птица.

— Волнистый попугайчик, — сказал Майкл. — У вас-то они, наверное, летают на воле. Между прочим, умеют говорить. Сейчас он напуган, но когда они привыкают к человеку, то начинают говорить.

И он хихикнул.

Птица между тем уселась на абажур. Дафна изловила ее и сунула в клетку. У нее была бледно-лиловая грудка.

— Это вам, — сказал Майкл. — Это мама мне ее дала. Специально для вас купила. Она говорит: «Поди сюда, милая», «Поди к черту» — в общем, в таком роде.

— Но она мне совсем не нужна, — в отчаянии сказала Дафна.

— Чик-чирик, — окликнул Майкл птицу. — Скажи: «Здравствуй». Скажи: «Поди сюда, дорогая».

Птица сидела на дне клетки и вертела головой.

— Поймите, — сказала Дафна, — у меня совсем нет денег. Я на мели. Я не могу дарить вашей матушке птиц. Я и жду-то ее, чтобы попрощаться.

— Неправда, — сказал Майкл.

— Правда, — сказала Дафна.

— Знаете что, — сказал он, — мой совет: смывайтесь, пока она не пришла. Если вы все это выложите ей, то заварится страшная каша. — Он чуть слышно хихикнул и налил себе виски, которое его мать уже разбавила водой. — Хотите, я вызову такси? Она вернется через полчаса.

— Нет, я ее дождусь, — сказала Дафна и нервно взъерошила пуделиные кудри.

— С одной девушкой, — сказал Майкл, — дело чуть не дошло до суда. Мама должна была устроить для нее два бала — и не сделала, или еще чего, а родители взъелись. По-моему, мама просто потратила деньги, или еще чего.

Он хихикнул.

— Понятно.

Дафна пошла к телефону и попросила Крота заехать за ней после работы.

Пришла Грета и, уяснив обстановку, выслала Майкла из комнаты.

— Должна вам заметить, — сказала она Дафне, — что вы затеваете незаконное дело. Вы

это понимаете, я надеюсь?

— Я не уведомила заранее, зато оплачу за неделю вперед, — сказала Дафна, — и еще надбавлю.

— Милочка, вы дали согласие проживать здесь до конца июня. Это написано черным по белому.

Она сказала сущую правду. Только теперь Дафна поняла, как ловко вытянули у нее из деревни письменное подтверждение.

— У дяди непредвиденные расходы. Мою кузину с мужем убили мау-мау, и теперь их сыновья…

— Простите, милочка, но разжалобиться я просто не имею права. Я ведь не меблированные комнаты держу. Лондонский сезон — это лондонский сезон, а кем я заменю вас в эту пору? Это после всего, что я для вас сделала. Приемы, скачки, ценные знакомства… Простите, но я не считаю возможным освободить вас от ваших обязательств. Я ради вас уже позвала людей на коктейль в Кларидж[8], это на будущей неделе. В конце концов никакой выгоды я не имею. Мерси Слейтер берет за дебютантку полторы тысячи.

Дафна вышла из оцепенения и отважилась возразить:

— Леди Слейтер устраивает балы для своих

---

[8] Примечания: 8
Фешенебельный лондонский ресторан.

дебютанток.

Грета не осталась в долгу:

— Разве вы создали мне для этого условия?

— За мной заедет Крот, — сказала Дафна.

— Я не собираюсь насильно удерживать вас, Дафна. Но если вы сейчас уедете, то вам придется возместить мне все расходы. А потом уходите, если надумали.

— Уходи. Уходи. Поди к черту, — выкрикнул попугайчик, уже перебравшийся на жердочку.

— А как быть с птицей? — сказала Грета. — Я специально для вас ее купила. Думала, вы будете в восторге.

И она всхлипнула.

— Она мне не нужна, — сказала Дафна.

— Все мои девушки обожали животных, — сказала Грета.

— Поди сюда, дорогая, — сказала птица. — Уходи, поди к черту.

Грета ушла в подсчеты:

— Птица стоит двадцать гиней. Кроме того, я заказала вам новые платья…

— Уходи, уходи, — говорила птица.

Приехал Крот. Дафна оставила на столике в прихожей чек на двадцать фунтов и убежала в машину, а Крот пошел выручать ее чемоданы.

— Мой адвокат вам напишет, — крикнула ей вслед Грета.

В прихожей слонялся Майкл. Случившееся не произвело на него никакого впечатления. Когда Дафна выходила, он хихикнул и пошел помочь Кроту забрать вещи.

Они ехали минут десять до первого светофора. Когда мотор смолк, Дафна услышала, как на заднем сиденье попискивает попугайчик.

— Ты взял птицу! — сказала она.

— Да. Разве она не твоя? Майкл сказал, что твоя.

— Я позвоню в зоомагазин, — сказала Дафна, — и попрошу взять ее обратно. Как ты думаешь, Грета Касс подаст на меня в суд?

— Ей не на что рассчитывать, — сказал Крот. — Выбрось все это из головы.

На следующее утро Дафна уже от своих позвонила в зоомагазин.

— Говорит миссис Касс, — сказала она насморочным голосом. — Вчера я купила у вас волнистого попугайчика. Смешно сказать, но я забыла, сколько он стоил, — может, вы напомните, чтобы я записала у себя?

— Миссис Грета Касс?

— Совершенно верно.

— Мне кажется, мы не продавали вам вчера никакого попугайчика, миссис Касс. Подождите у телефона, я уточню.

Немного спустя в трубке раздался другой, более начальственный голос:

— Вы спрашивали насчет волнистого попугайчика, миссис Касс?

— Да, я купила его вчера, — сказала Дафна в нос.

— Но не в нашем магазине, миссис Касс… Кстати, миссис Касс…

— Да? — прогнусавила Дафна.

— Раз уж вы позвонили, я хочу напомнить, что за вами долг.

— Я помню. Сколько там? Я пришлю чек.

— Восемьдесят гиней — вместе с карликовым пуделем, разумеется.

— Я понимаю. А сколько стоил пудель? Я очень бестолковая в делах.

— Пудель стоил шестьдесят гиней. Остальное числится за вами с прошлого октября…

— Благодарю вас. Я полностью вам доверяю. Я пришлю чек.

— Я знаю: ты украла эту птицу, — сказала тетя Сара, пихнув клетку.

— Нет, — сказала Дафна. — Я заплатила за нее.

Весной 1947 года Линда умерла от болезни крови. На похоронах к Дафне подошел невысокий мужчина лет сорока пяти. Это был Мартин Гринди, тот адвокат, которого любила Линда. Он вручил Дафне свою визитную карточку:

— Может, вы как-нибудь подъедете, вспомним Линду?

— Обязательно.

— Может, на будущей неделе?

— Я все время в школе. Когда кончатся занятия, я вам напишу.

Она написала ему в пасхальные каникулы, и через несколько дней они встретились и вместе позавтракали.

— Мне так не хватает Линды, — сказал он.

— Я вас понимаю.

— Неприятнее всего, что я женат.

Она нашла его привлекательным и поняла, почему Линда так дорожила встречами с ним.

К лету она возместила Мартину утрату Линды. Они встречались в Лондоне в конце недели, а когда в школе начались каникулы, встречались чаще.

Дафна работала учительницей в частной школе в Хенли. Жила она с Пубой и средних лет домоправительницей, которую удалось удержать,

поскольку старая прислуга, Клара, умерла, а тетю Сару сплавили в богадельню.

Крот женился, и Дафна грустила, что он не наезжает, как прежде, и не балует ее долгими автомобильными прогулками. До встречи с Мартином Гринди разнообразие в ее жизнь вносил только приходящий учитель рисования, дважды в неделю появлявшийся в школе.

Жена Мартина была несколькими годами старше его, жила в Суррее и страдала нервным расстройством.

— Развод исключается, — сказал Мартин. — Жена против по религиозным соображениям, и, хотя я их не разделяю, я чувствую ответственность за нее.

— Понятно.

Они встречались у него на квартире в Кенсингтоне. Стояла жара. Они купались в Серпантине[9].

Когда у жены наступало ухудшение, его вызывали в деревню. Дафна отсиживалась в квартире либо ходила по магазинам.

— В этом году, — говорил Мартин, — она совсем расклеилась. Но если в будущем году ей станет

---

[9] Примечания: 9
Искусственное озеро в Гайд-Парке.

получше, я, может быть, свожу тебя в Австрию.

— В будущем году, — говорила она, — мне будет пора возвращаться в Африку.

«У Старого Тейса был удар, — писал ей недавно Чаката. — Сейчас он оправился, но соображает очень плохо». Последнее время Чаката, казалось, не особенно рассчитывал на ее возвращение. Дафна терялась, потому что раньше, сообщая домашние новости, он непременно прибавлял: «Ты застанешь много перемен, когда вернешься», или: «Там новый врач. Он тебе понравится» — это уже из происшествий в дорпе. А в последнем письме Чаката писал: «В области образования наметились перемены. Ты увидишь, как далеко зашло дело, если вернешься». Временами ей казалось, что у Чакаты начинает шалить память. «Я стараюсь с наибольшей пользой провести здесь время, — писала она, — но поездки стоят очень дорого. Вряд ли я смогу хоть чуточку посмотреть Европу на обратном пути». В ответном письме Чаката ни словом не обмолвился о Европе, а написал: «Старый Тейс все время сидит на веранде. Бедняга, от него уже нет никакого вреда. В общем, грустное зрелище».

В конце лета любовник Дафны повез жену в

Торки[10]. Несколько дней Дафна в одиночестве слонялась по улицам, потом уехала к Пубе. Она водила старика гулять. Попросила у него взаймы денег, чтобы на неделю съездить в Париж. Тот сказал, что не видит в этом никакого смысла. На другой день домоправительница сказала, что есть желающий купить ее пуделя за тридцать фунтов. Но Дафна уже привязалась к собаке. Она отвергла предложение и написала любовнику в Торки, прося у него взаймы, чтобы съездить в Париж. От Мартина пришла открытка, где не было ни слова о ее просьбе. «Будь в Лондоне в начале октября», — писал он.

В начале октября начались занятия в школе. В первую же неделю в деревне объявилась жена Мартина и потребовала от Пубы открыть местонахождение Дафны. Тот направил ее в школу, она явилась туда и устроила Дафне скандал.

Позже ей устроила разнос директриса, и Дафна тут же заявила, что уходит. Директриса скоро отошла, потому что учителей не хватало. «Я беспокоилась за девочек», — объяснила она. Приходящий учитель рисования, Хью, уверил Дафну, что в Лондоне она может найти работу получше.

---

[10] Примечания: 10
Приморский курорт с минеральными водами в графстве Девоншир.

В тот же вечер она уехала, Пуба рвал и метал. «Кто же будет по хозяйству, когда у миссис Визи свободный день?» Дафна поняла, почему он не захотел отпустить ее в Париж.

— А вы женитесь на ней, — предложила Дафна. — Тогда она всегда будет под рукой.

Он так и сделал — не прошло и месяца. В Лондоне Дафна сняла комнату, в которой за такую плату обстановка могла быть и получше, зато хозяйка не возражала против пуделя.

Здесь ее нашел Мартин Гринди.

— Мне не нравится твоя жена, — сказала она.

— Наверное, она перехватила твое письмо. Как мне быть с тобой? Что сделать? Какие слова сказать?

Преподавая в школе рисование, Хью Фуллер занимался еще живописью. Он возил Дафну к себе в мастерскую на Эрлз-Корт, и она позировала ему, в задумчивости теребя потрепавшуюся обивку кресла.

О том, чтобы переехать к нему, сказала она, не может быть и речи, но она надеется, что они останутся друзьями.

Он решил, что поторопился с предложением, минуя постель, и попытался исправить промашку.

Дафна завизжала. Он не поверил своим ушам.

— Понимаешь, — объяснила она, — я сейчас ужасно нервная.

Он часто водил ее в Сохо, иногда брал с собой на вечеринки, где она впервые открывала мир, в существование которого прежде не верила. Поэты здесь и впрямь носили длинные волосы, художники ходили с бородами, а двое мужчин переплюнули всех, надев браслеты и серьги. Четверка девиц дружно жила в двух комнатах с огромной старухой негритянкой. Среди знакомых Хью некоторые презирали его за то, что он обучает искусству, другие не видели в этом вреда, коль скоро он бездарность, а третьи восхищались его трудолюбием и щедростью.

Дафна убедилась, что это общество весьма благотворно для ее нервов.

Здесь ей не задавали надоевших вопросов об Африке и, главное, к ней никто не приставал, даже Хью. Работала Дафна в муниципальной школе. Весной, когда занятия кончались рано, можно было пойти к Хью и его приятелям и всей компанией, поражая уличных зевак, заняв весь тротуар и штурмуя автобусы, отправиться на только что открывшуюся художественную выставку. И там Дафна понимала, что приятели Хью

живут в мире, который для нее наглухо закрыт. Правда, она стала лучше разбираться в картинах. Может, Хью и впрямь был неисправимый педагог, как заметил один его приятель, но он с наслаждением открывал Дафне глаза на композицию, линию, свет, фактуру и краски.

Однажды ее навестил кузен Крот. Он рассказал, что Майкл, придурковатый сын Греты Касс с Риджентс-парк, женился на женщине десятью годами старше его и теперь эмигрирует в колонию. И хотя Дафна и прежде нет-нет да заскучает, бывало, по родным местам, сейчас она затосковала отчаянно.

— Мне уже скоро возвращаться, — сказала она Кроту. — Я скопила денег на дорогу. Приятно знать, что можешь в любое время вернуться.

Однажды Дафна и Хью сидели с приятелями в пивной в Сохо, как вдруг все разговоры смолкли. Дафна оглянулась и увидела, что вниманием всех завладел вошедший с улицы жгучий брюнет, худощавый, лет сорока с небольшим. Через минуту все снова заговорили, кто-то хихикнул, и все время кто-нибудь посматривал в сторону пришедшего.

— Ральф Мерсер, — шепнули Дафне.

— Кто?

— Ральф Мерсер, романист. Кажется, они с Хью однокашники. Довольно популярный романист.

— Понятно, — сказала Дафна, — он и держится, как популярный.

Хью брал у стойки заказ. Романист увидел его, и они немного поговорили. Потом Хью привел его и познакомил со своими. Романист сел рядом с Дафной.

— Вы мне кое-кого напоминаете, — сказал он, — она была из Африки.

— Я сама из Африки, — сказала Дафна.

— Ты часто здесь бываешь? — спросил его Хью.

— Нет, просто шел мимо…

Какая-то девица густо, по-мужски фыркнула.

— Блажь, — сказала она.

— Он довольно мил, — сказал Хью, когда тот ушел. — При его известности…

— А вы слышали, — спросил кто-то старообразный, — как он сказал: «Мне как художнику?..» Смешно, правда?

— А что, он и есть художник, — сказал Хью, — в том смысле, что…

Но за общим смехом его не услышали.

Несколько дней спустя Хью сказал Дафне:

— Я получил письмо от Ральфа Мерсера.

— От кого?

— От того романиста, которого мы видели в пивной. Он просит твой адрес.

— Зачем, не знаешь?

— Наверное, ты ему понравилась.

— Он женат?

— Нет. Он живет с матерью. В общем, я послал ему твой адрес. Ты не возражаешь?

— Конечно возражаю. Я не почтовая открытка, чтобы пускать меня по рукам. Боюсь, я не захочу тебя больше видеть.

— Знаешь, — сказал Хью, — хорошо, что у нас ничего не было. Я, понимаешь, не очень гожусь для женщин.

— Не знаю, что тебе ответить, — сказала она.

— Надеюсь, Ральф Мерсер тебе понравится. Он очень обеспеченный человек. Интересная личность.

— Я не собираюсь с ним видеться, — сказала Дафна.

Ее связь с Ральфом Мерсером продолжалась два года. Она увлеклась им до самозабвения и соответственно высоко была вознесена в глазах прочей свиты, в которую входило избранное число писателей и без числа народу из мира кино. Ее квартира в Хампстеде была выстлана серыми

коврами, обставлена дорогой и модной шведской мебелью. Друзья Ральфа по-всякому обхаживали ее, весь день обрывали телефон, приносили цветы и билеты в театр.

Первые три месяца Ральф не отходил от нее ни на шаг. Она рассказала ему о своем детстве, о Чакате, о ферме, о дорпе, о Дональде Клути, о Старом Тейсе. Ральф требовал еще и еще. «Мне нужно знать все, что тебя окружало, каждую подробность. Любить — значит стирать с карты белые пятна». Столь оригинальный подход необычайно обострил ее память. Она вспомнила события, пролежавшие впотьмах пятнадцать и больше лет. Она уже смекала, какие рассказы придутся ему по вкусу, — например, история вражды между Старым Тейсом и Чакатой, узлом связавшей честь и месть. Получив однажды от Чакаты письмо, она смогла одной фразой завершить повесть жизни Дональда Клути: он умер от пьянства. Это скромное даяние она вручила Ральфу, гордясь собой, поскольку из этого явствовало, что знание человека и его судьбы ей тоже доступно, хотя она и не романистка. «Я всегда, — сказала она, — спрашивала, пьяный он или трезвый, и он всегда отвечал правду». А позже в тот день мысль о смерти Дональда Клути сразила ее, и она

неутешно разрыдалась.

Миссис Чаката, сообщили из дому, разделила судьбу Дональда — по тем же причинам. И эту новость Дафна понесла на алтарь. Романист воспринял ее сдержаннее, чем предыдущую. «Старому Тейсу уже не удастся отомстить», — добавила она в пояснение, отлично зная, что после удара Старый Тейс глуп и беспомощен. Друзья писали ей из колонии, что миссис Чаката уже давно ложится без револьвера: «Старый Тейс не обращает на нее никакого внимания. Он обо всем забыл».

— Смерть перехитрила Старого Тейса, — сказала Дафна.

— Очень мелодраматично, — заметил Ральф.

Не предупреждая ее, Ральф стал исчезать на дни и целые недели. Перепуганная Дафна звонила его матери.

— Даже не представляю, где он может быть, — отвечала та. — Уж такой он человек, милочка. Одно мучение с ним.

Спустя много времени она скажет Дафне:

— Я люблю сына, но скажу как на духу: он мне не нравится.

Миссис Мерсер была набожной женщиной.

Ральф любил мать, но она ему не нравилась. У него часто бывали нервные срывы.

— Я должен, — говорил он, — творить. Для этого мне требуется одиночество. Поэтому я и отлучаюсь.

— Понятно, — сказала Дафна.

— Если ты еще раз скажешь это слово, я тебя ударю.

И в ту же минуту ударил ее, хотя она не сказала ни слова.

Позже она сказала ему:

— Ты бы хоть предупреждал, когда уезжаешь, мне было бы спокойнее. А так я схожу с ума.

— Отлично. Сегодня вечером я уезжаю.

— Куда ты уезжаешь? Куда?

— Почему, — спросил он, — ты не возвращаешься в Африку?

— Потому что не хочу.

Всеми ее помыслами владел Ральф, и места для Африки уже не оставалось.

Его очередная книга пользовалась небывалым успехом. По ней снимался фильм. Он признался Дафне, что обожает ее и прекрасно сознает, какую адскую жизнь ей устроил. Видимо, с творческой натурой лучше не связываться.

— Игра стоит свеч, — сказала Дафна, — и, на-

верное, от меня тоже есть какая-нибудь польза.

В ту минуту он в этом не сомневался, прикинув, что последняя его книга была вся написана за время их связи.

— По-моему, нам надо пожениться, — сказал он.

На следующий день он вышел из дома и уехал за границу. Два года не притупили ее любви, не заглушили боли и страха.

Через три недели он написал ей с материной квартиры и попросил съехать. Он сам потом расплатится и прочее.

Она позвонила его матери.

— Он не станет говорить с тобой, — сказала та. — Честно говоря, я со стыда сгораю за него.

Дафна взяла такси и поехала к ним.

— Он работает наверху, — сказала его мать. — Завтра снова куда-то собирается уезжать. Честно говоря, я надеюсь, что это надолго.

— Мне нужно повидать его, — сказала Дафна.

— Я буквально больная от него, — сказала мать. — Стара я, милочка, чтобы переносить такое. Благослови тебя Бог.

Она подошла к лестнице и крикнула:

— Ральф, спустись, пожалуйста, на минутку.

Дождавшись его шагов на площадке, она быст-

ро шмыгнула в сторону.

— Уходи, — сказал Ральф. — Уходи и оставь меня в покое.

III

В колонию Дафна вернулась в самые дожди. От сырости Чакату совсем замучил ревматизм. О ревматизме он в основном и говорил и, спросив что-нибудь про Англию, даже не слушал ответа.

— Вест-Энд страшно разбомбили, — сказала Дафна.

— Когда я поворачиваюсь в постели, в паху словно ножом режет, — ответил он.

Заходили соседи повидать Дафну. Молодежь переженилась, некоторых она вообще впервые видела.

— К югу от нас купил ферму какой-то парень из Англии, говорит, что знает тебя, — сказал Чакаата. — Кажется, его фамилия Каш.

— Касс, — сказала Дафна. — Майкл Касс. Правильно?

— Это снадобье, что мне прописали, совсем не помогает. Только хуже себя чувствую.

В доме Старого Тейса теперь жил новый табач-

ник. Старый Тейс жил в хозяйском доме, у Чакаты. Он сидел в углу веранды и нес околесицу либо слонялся по двору. Чаката раздражался, когда Старому Тейсу не сиделось на месте, поскольку сам он передвигался с трудом. «Не приведи бог, — говорил он, провожая взглядом Старого Тейса, — вот и руки-ноги есть, а в голове никакого соображения. Я хоть еще соображаю». Чаката предпочитал, чтобы Старый Тейс сидел в своем кресле на веранде. В такие минуты он говорил: «Знаешь, после стольких лет я очень привязался к Старому Тейсу».

За едой Старый Тейс чавкал. Чаката словно не замечал этого. Дафне пришла мысль, что она теперь не очень и нужна Чакате, коль скоро ее не надо спасать от Старого Тейса. Она решила пожить на ферме месяц, не больше. А потом найти работу в столице.

На третий день погода разгулялась. Все утро она слонялась по ферме, облитой солнцем, а после обеда пошла в крааль Макаты. Новый табачник с большой охотой согласился заехать за ней на машине.

Она отвыкла ходить и после первой мили выдохлась. В небе она заметила облако саранчи и безотчетно бросила тревожный взгляд в сторону

маисовых полей Чакаты. Стая пролетела, не опустившись. Дафна села на камень передохнуть и спугнула ящерку.

— У-хо-ди. У-хо-ди, — услышала она.

— Господи, — позвала она, — помоги. Нет больше моих сил.

Мальчик прибежал к сушильням, где, опершись на две трости, передыхал Чаката.

— Баас Тейс ушел стрелять антилопу. Негритенок говорит: он взял ружье стрелять антилопу.

— Кто? Что?

— Баас Тейс. Ружье.

— Куда он пошел? В какую сторону?

— К северу. Негритенок видел. После обеда, говорит негритенок, сказал, что идет стрелять антилопу.

Подошло несколько туземцев.

— Бегом за ним! Отберите у Старого Тейса ружье. Приведите обратно.

Они нерешительно взглянули на него. Чтобы туземцу велели отобрать у белого человека ружье — такое услышишь не каждый день.

— Отправляйтесь, болваны. Бегом!

Еле живые от страха, они приплелись через полчаса. Тем временем, ожидая их, Чаката дотащился до конюшни:

— Где Тейс? Вы его нашли?

Они не сразу ответили. Потом один туземец ткнул пальцем на дорогу через маисовое поле, по которой, шатаясь от усталости, брел Старый Тейс и что-то волочил за собой.

— Возьмите ее, — велел Чаката.

— Подстрелил антилопу, — объявил Старый Тейс собравшимся. — Выходит, на что-то еще гожусь. Подстрелил антилопу.

Он внимательно вгляделся в Чакату. Он не понимал его безучастности.

— Чаката, у нас антилопа на обед, — сказал он.

С похоронами в колонии не тянут, потому что климат торопит. Провели дознание и на следующий день Дафну похоронили. На похороны приехал Майкл Касс, кладбище было неподалеку от дорпа.

— Вообще-то мы были довольно хорошо знакомы. Она жила у моей матери, — сказал он Чакате. — Мать подарила ей птицу — или что-то в этом роде.

Он хихикнул. Озадаченно взглянув на него, Чаката не увидел на его лице улыбки.

Чакате помогли сесть в машину.

— Надо показаться настоящему специалисту, — сказал он.

Случившееся потрясло Ральфа Мерсера. Получалось так, что некая догадка подтвердилась. Встретившись с ним, Дафна только и начала жить, а расставшись, — в определенном смысле умерла. Он пытался растолковать это своей матери.

— Как те цветы, что растут в саду. Ведь нельзя сказать, что они существуют, пока не увидишь их собственными глазами. Или другой пример…

— Цветы, сад… Тут душа человеческая.

Через год Ральф пережил творческий кризис. Его книги расходились, однако серьезная публика не принимала их всерьез.

У всех его романов были счастливые концы. Он решил написать трагедию.

В поисках трагического он поворошил свой жизненный опыт. Он обдумал и забраковал домашние неурядицы своих прошлых и теперешних друзей — слишком все банально. Забраковал историю своей матери, рано овдовевшей, разочаровавшейся в сыне, но все еще не павшей духом, — слишком частная история. И задумался о Дафне. Тут забрезжило нечто экзотическое и трагическое. Он вспомнил ее рассказы о Старом Тейсе и Чакате, историю их пожизненной вражды. Он взял билет на самолет и улетел в колонию,

чтобы собрать необходимый материал.

В колонии им почти сразу завладели поклонники. С ним еще никогда так не носились, он был нарасхват. Его пригласили к губернатору. В его честь устраивали обеды, и, хотя реки разлились, гости съезжались издалека. Он уже не каждым приглашением соблазнялся. Всякий белый человек знал это имя — Ральф Мерсер, даже если и не читал его книг. А главное, отдыхая после обеда на просторных верандах, он мог разглядывать общество, не опасаясь уколоться о встречный взгляд какого-нибудь критика, кошмарного типа, даже по имени вряд ли известного читательской публике, который дома обязательно затешется в компанию и будет портить Ральфу кровь. Он склонялся к мысли, что весьма недооценивал своего читателя.

— Я подумываю о том, чтобы сменить творческую манеру. Подумываю написать трагедию.

— Великий боже, — сказал его собеседник, отставной генерал, — не пугайте нас.

И все его поддержали.

Еще в одном отношении все были единодушны: «Отчего бы вам не обосноваться у нас?» Или: «Отчего бы вам не купить дом и не жить в нем несколько месяцев в году? Это единственный

способ избежать высоких налогов».

В клубе он встретил Майкла Касса, который приехал в столицу похлопотать о ссуде в земельном банке.

— Моя жена обожает ваши книги, — сказал Майкл и хихикнул. Ральф забеспокоился, не критик ли он. — У нас с вами есть общая знакомая, — сказал Майкл, — вернее, была. Дафна дю Туа. Я приезжал ее хоронить.

И хихикнул.

— Я, собственно, приехал, чтобы побывать на ее могиле, — сказал Ральф в свое оправдание. — И еще — поговорить с ее дядей.

— У вас есть машина? — спросил Майкл. — Если нет, то я вас отвезу. Я живу недалеко от них.

Ральф догадался, что хихиканье Майкла — это просто нервный тик.

— Я думаю обосноваться в колонии, — поведал он, — жить здесь семь месяцев в году.

— Недалеко от нас есть прекрасный дом, — сказал Майкл. — Его скоро будут продавать.

Только пробыв в колонии два месяца, объездив страну вдоль и поперек, повидав все достопримечательные места и интересных людей, Ральф смог наконец ответить на приглашение Майкла и приехал к ним на ферму.

— Вы сейчас что-нибудь пишете? — спросила его жена Майкла.

— Нет, сейчас я собираю материал.

— Так это будет про колонию?

— Трудно сказать.

Вдохновленный образом Дафны замысел книги уже не казался ему столь заманчивым. Он не мог вообразить читателя, способного воздать должное такой теме, — во всяком случае, здешние его почитатели, когда он узнавал их поближе, для этого не годились.

Майкл возил его на ферму, объявленную к продаже. Ральф сказал, что почти наверняка купит ее.

Ходили к Чакате, Ральф поговорил с ним о Дафне.

— Почему она не осталась в Англии насовсем? — сказал Чаката. — Почему вернулась?

— Наверное, ее тянуло назад, — сказал Майкл и хихикнул.

Чаката заговорил о ревматизме. Он проковылял на веранду и крикнул, чтобы принесли выпить. Гости вышли следом, и Ральф увидел сидящего в углу долговязого старика, что-то бормочущего себе под нос.

Он спросил Чакату:

— Это не мистер Тейс? Дафна рассказывала мне о мистере Тейсе.

— Не удался в этом году маис, — сказал Чакаата. — Не жилец я на белом свете.

Майкл отвез Ральфа на кладбище. Жена предупреждала: «Оставь его там ненадолго одного. По-моему, он любил девочку». Майкл уважал деликатную натуру своей жены. Хихикнув, он оставил Ральфа у могилы, объяснив, что у него неотложные дела в деревне и что он вернется за ним.

— Но вы, — сказал Ральф, — ненадолго?

— Нет-нет, — сказал Майкл.

— Тут что-то очень много москитов. У вас бывает малярия?

— Нет-нет.

Он хихикнул и ушел.

Постояв перед камнем с надписью «Дафна дю Туа. 1922–1950», Ральф стал нетерпеливо расхаживать по кладбищу. Его рассеянный взгляд ухватил надпись: «Дональд Клути». Что-то знакомое, но откуда выплыло это имя — он не мог вспомнить. Возможно, его упоминала Дафна.

— У-хо-ди, у-хо-ди.

Птичка сидела как раз за могилой Дафны. Дафна часто ее поминала:

— Она свистит: «У-хо-ди, у-хо-ди».

— И что из этого? — спрашивал он, раздражаясь, потому что иногда он с пронзительной ясностью видел в ней самое Глупость.

Без всякого конкретного повода она то и дело объявляла: «У нас есть птичка, которая свистит: „у-хо-ди“, „у-хо-ди“»; она навязывала ему эту птичку, словно он орнитолог, а не писатель.

— У-хо-ди, у-хо-ди, — сказала птичка с той стороны могилы.

Все шесть недель, что он ездил по сельским районам, он каждый день слышал птичку. Вернуться в столицу и больше не слышать ее голоса было большим облегчением. В клубном уюте все предстало таким образом, что никакой птички никогда и не было.

Но вот он пошел с губернатором посмотреть раунд гольфа.

— У-хо-ди, у-хо-ди.

Он заказал билет на самолет в Англию — к сожалению, только на будущую неделю. В «Уильямс-отеле» он случайно встретил Майкла Касса.

— Насчет той фермы, — сказал Майкл. — Кто-то еще приценивался. Вам надо побыстрее решать.

— Я не хочу ее покупать, — сказал Ральф. — Я

не хочу здесь оставаться.

Они сидели на веранде и пили виски с содовой. За москитной сеткой торчала птичка.

— Вы ее слышите, эту птичку-«уходи»?

Майкл прилежно вслушался:

— Нет. Не скажу, что слышу.

Он хихикнул, и Ральфу захотелось его ударить.

— Я ее везде слышу, — сказал Ральф. — Она мне не нравится. Поэтому я и уезжаю отсюда.

— Господи, твоя воля. Вы что, птицами интересуетесь?

— Нет, не особенно.

— Ральф Мерсер не будет покупать ферму, — сообщил Майкл своей жене вечером.

— Мне казалось, это решенное дело.

— Нет, он возвращается домой. К нам уже не приедет. Говорит, ему не нравятся здешние птицы.

— Надо бы тебе полечиться от этого хихиканья, Майкл. Что, ты говоришь, ему не нравится?

— Птицы.

— Птицы? Так он что — орнитолог?

— Нет, по-моему, католик.

— Дорогой, я имею в виду специалиста по птицам.

— А! Нет, он говорит, что не особенно интере-

суется птицами.

— Оригинал, — сказала она.

Портобелло-Роуд

Однажды в погожий летний денек на заре юности, валяючись с любезными друзьями на стогу сена, я нашла там иголку. Уже несколько лет я втайне догадывалась, что меня относит в сторону от общей колеи, и вот иголка обличила меня перед всеми нашими — перед Джорджем, Кэтлин и Скелетиком. Я сосала большой палец, потому что в него-то и впилась иголка, когда я от нечего делать зарылась рукою в сено.

Суматоха улеглась, и Джордж возгласил: «Сунешь пальчик в пирог — и достанешь творог». И мы снова принялись безжалостно и беспечно насмешничать.

Иголка глубоко вонзилась в мякоть пальца: из темной точечки струился и расплывался кровавый ручеек. И чтобы мы, упаси боже, не приуныли, Джордж спешно потребовал:

— Эй, подальше со своим грязным пальцем от моей, ей-богу, чистой рубашки!

И мы проорали «кукареку», сотрясая послеполуденный зной на границе Англии и Шотландии. Вот правда, ни за что бы не захотела снова так помолодеть сердцем. Это я думаю каждый раз, во-

роша старые бумаги и натыкаясь на фотографию. Кэтлин, Скелетик и я возлежим на стогу. Скелетик ясно уточнил, в чем суть моей находки:

— Тут не голова нужна. Да ты не головой и берешь — ты у нас просто крохотулька-удачница.

Все согласились, что просто так иголку в стогу сена не найдешь. Разговор угрожал стать серьезным, и Джордж сказал:

— Тихо лежать, я вас снимать.

Я обмотала палец и приосанилась, а Джордж показал пальцем из-за фотоаппарата и заорал:

— Смотрите, мышь!

Кэтлин взвизгнула, и я тоже, хотя обе мы, пожалуй, знали, что никакой мыши нет. Зато можно было лишний раз погорланить. Наконец мы все втроем пристроились сниматься. Мы очень мило выглядели, и день выдался изумительный, но не хотела бы я, чтобы он повторился.

С тех пор меня стали звать Иголкой.

Как-то в субботу, уже в общем недавно, я слонялась по Портобелло-Роуд, прошивая вдоль узких тротуаров потоки покупателей, и вдруг заметила женщину. У нее был изможденный, озабоченный и очень благополучный вид; похудела, только полные груди высоко, по-голубиному, подобраны. Я не видела ее чуть ли не пять лет. Как она

изменилась! Но я узнала Кэтлин, мою подругу, хотя нос и рот у нее выдались, а лицо обтянуло, как у всех преждевременно стареющих женщин. Прошлый раз я видела ее лет пять назад, и Кэтлин — ей было едва за тридцать — сказала:

— Я ужасно подурнела, это у нас в роду. Девушками — прелесть, а после сразу увядаем, становимся черными и носатыми.

Я молча стояла среди толпы и наблюдала. Как вы потом поймете, мне не пристало заговаривать с Кэтлин. Я смотрела, как она, по-обычному хищно, пробирается от прилавка к прилавку. Она всегда обожала покупать по дешевке старые драгоценности. Странно, что я ее не встречала раньше здесь, на Портобелло-Роуд, во время моих субботних утренних прогулок. Ее длинные крюкастые пальцы мертвой хваткой выудили колечко с нефритом из груды брошек и подвесок, из ониксов, золота и лунных камней, выложенных на прилавке.

— Как тебе это? — спросила она.

И я увидела, с кем она была. За несколько шагов смутно маячила крупная мужская фигура, и теперь мне ее стало видно.

— Да вроде ничего, — сказал он. — А почем?

— А почем? — спросила Кэтлин у продавца.

Мне стал совсем ясен тот, сопровождающий Кэтлин. Это был ее муж. Он оброс до неузнаваемости, но показался огромный рот, яркие, сочные губы и большие карие глаза, налитые вечным волнением.

С Кэтлин разговаривать мне не пристало, однако что-то вдруг побудило меня спокойно сказать:

— Привет, Джордж.

Великан повернул голову, приглядываясь. Люди, люди и люди — но наконец он увидел и меня.

— Привет, Джордж, — повторила я.

Кэтлин стала сноровисто выторговывать у хозяина нефритовое колечко. Джордж уставился на меня, и обнажились белые зубы в распахнутом алом рту между белокурыми космами усов и бороды.

— Господи! — сказал он.

— Что такое? — сказала Кэтлин.

— Привет, Джордж! — сказала я, на этот раз совсем громко и превесело!

— Гляди, гляди! — сказал Джордж. — Гляди, вон там, за фруктовым прилавком!

Кэтлин поглядела и ничего не увидела.

— Ну кто там еще? — нетерпеливо спросила она.

— Иголка, — выговорил он. — Она сказала:

«Привет, Джордж!»

— *Иголка,* — сказала Кэтлин. — Это ты о ком же? Это ты не о той ли Иголке, нашей старой приятельнице…

— Да. Вон она. Господи!

Он побледнел досиня, хотя я сказала «Привет, Джордж» вполне дружелюбно.

— Там нет никого даже отдаленно похожего на бедную нашу Иголку, — сказала Кэтлин, не сводя с него глаз. Она забеспокоилась.

Джордж показал на меня пальцем.

— Гляди, вон она. Говорю тебе, это она, это Иголка.

— Ты нездоров, Джордж. Боже мой, тебе, наверно, просто привиделось. Пойдем домой. Какая там Иголка? Ты не хуже меня знаешь, что Иголки нет в живых.

Надо вам сказать, что я рассталась с жизнью лет пять назад. Но я не совсем рассталась с миром. Остались кое-какие дела, в которых никогда нельзя доверять душеприказчикам. Бумаги для просмотра, в том числе разорванные и выкинутые. Вообще пропасть занятий — не по воскресеньям, конечно, и не по присутственным праздникам, но между делом есть с чем повозиться. Отдыхаю я в субботу утром. Если суббота выпадает сырая,

то я прохаживаюсь возле распродажи мелочей у Вулворта, как бывало в пору молодости и во времена осязаемости. На прилавках разложены всякие милые предметы, которые я теперь замечаю и разглядываю несколько отрешенно, как это приличествует моему нынешнему положению. Тюбики крема и зубной пасты, расчески и носовые платки, матерчатые перчатки, легкие, зыбкие шарфики, писчая бумага и цветные карандаши, стаканчики мороженого и лимонад, отвертки, пачки кнопок, жестянки с краской, с клеем, с повидлом — я радовалась всему этому и раньше, а теперь, когда мне уже ничего не надо, радуюсь еще больше. А если в субботу ясно, я иду на Портобелло-Роуд, где мы, бывало, прогуливались с Кэтлин, совсем взрослые. И с лотков продают все то же: яблоки и вискозные рубашки истошного синего и исподнего лилового цвета; серебряные тарелки, подносы и чайники, давно потерявшие былых хозяев и застрявшие у перекупщиков, путешествующие из магазинов в новые квартиры и ненадежные дома, а оттуда обратно на лотки к перекупщикам; старинные ложки, кольца, бирюзовые и опаловые сережки в виде символического двойного узла, похожего на распластанную бабочку; цветные шкатулки

с миниатюрными женскими изображениями на слоновой кости и серебряные табакерки, выложенные шотландскими самоцветами.

Иной раз на субботнее утро подруга моя Кэтлин, католичка, заказывает по мне заупокойную мессу, и тогда я, как бывало, являюсь в церковь. Но чаще всего по субботам я отдыхаю душой среди чинной толкотни с ее деловитой бестолковщиной неподалеку от жизни вечной, среди людей, которые проталкиваются к прилавкам и ларькам и там перебирают, покупают, воруют, ощупывают, примеряют и приценяются к товарам. Я слушаю, как щелкают кассы, как бренчит мелочь, болтают языки и верещат дети, упрашивая дать подержать и, пожалуйста, купить.

Так-то вот я и забрела на Портобелло-Роуд субботним утром, когда увидела Джорджа и Кэтлин. Я бы не заговорила, не будь к тому наития. Да мне это теперь, кстати же, и не дано — разговаривать без наития. А самое странное, что в то утро, заговорив, я даже стала отчасти видимой. И наверно, бедняга Джордж счел меня за привидение, увидев, как я стою за тележкой с фруктами и добродушно повторяю: «Привет, Джордж!»

Наш путь лежал на юг. Когда по северным понятиям и возможностям наше образование было

закончено, нас одного за одним послали или вызвали в Лондон. Джон Скиллеттер, по-нашему — Скелетик, поехал доучиваться археологии, Джорджу пришлось отправиться к дяде-табаководу, а Кэтлин прибилась к богатым родственникам — у кого-то из них в Мэйфере был шляпный магазин, и там она кое-как училась торговать. Чуть позже и я тоже приехала в Лондон посмотреть, как люди живут, потому что я собиралась писать о жизни и надо было с нею ознакомиться.

— Нашей четверке надо держаться друг друга, — повторял Джордж своим проникновенным голосом.

Он всегда отчаянно боялся отбиться от компании. Наша четверка распадалась, и Джордж нам не доверял: мы, того и гляди, вообще потеряем его из виду. Ему предстояло вскорости отбыть в Африку, на дядину табаководческую ферму, и он говорил все чаще и чаще:

— Нам надо держаться вчетвером.

И перед отъездом озабоченно сообщил каждому из нас:

— Я буду писать регулярно, раз в месяц. Нам надо держаться вместе и сохранить юношескую дружбу.

Он сделал три отпечатка с негатива той фото-

графии на стогу, написал на обороте каждой: «Так Джордж запечатлел тот день, когда Иголка нашла иголку» — и раздал нам по штуке. По-моему, всем нам хотелось, чтобы он поскорее очерствел.

Я жила как жилось, совершенно неупорядоченно. Друзьям было трудновато уследить за моей жизнью. По всем нормальным расчетам, я должна была впасть в нищету и отчаяние, чего, однако, не случилось. Конечно, мне не удалось написать о жизни, как я собиралась. Может быть, поэтому мне и пишется в нынешних необычных обстоятельствах.

Почти три месяца я преподавала в Кенсингтонской закрытой школе, учила самых маленьких. Я не знала, что с ними делать, хотя забот хватало и с мальчиками, не дотерпевшими до уборной, и с девочками, не приученными к носовым платкам. Я кое-что скопила и отдыхала целую зиму в Лондоне, а когда деньги кончились, я нашла в кино бриллиантовый браслет и получила за него пятьдесят фунтов вознаграждения. Я их прожила и устроилась при рекламном агентстве, где составляла речи для промышленных деятелей, не вылезая из словаря цитат. Так оно и шло. Я обручилась со Скелетиком, но вскоре мне перепало небольшое наследство, и месяцев на шесть

я была обеспечена. Тогда мне показалось, что Скелетика я не люблю, и я вернула ему обручальное кольцо.

Но в Африку я все-таки поехала стараниями Скелетика. Его взяли в археологическую экспедицию на копи царя Соломона, к той древнейшей системе рудников, которая простирается от древнего порта Офир (теперь Бейра) через Португальскую Восточную Африку и Южную Родезию до сокрытого в джунглях великого города Зимбабве, где на склоне древней священной горы еще стоят стены храма и где осколки былой цивилизации рассеяны по окрестным пустыням. Я была в экспедиции чем-то вроде секретаря. Скелетик за меня поручился, оплатил дорожные расходы и тем самым как бы признал в правах мою непутевую жизнь, при случае, однако, высказываясь о ней неодобрительно. Жизнь, подобная моей, почти всех раздражает: когда ходишь каждый день на службу, что-то устраиваешь, отдаешь распоряжения, стучишь на машинке, отдыхаешь недели две-три в году, то все-таки неприятно, что другой ничего этого делать не изволит и живет себе без забот о хлебе насущном, едва ли не припеваючи. Когда я расторгла обручение, Скелетик прочел мне на этот счет нотацию, но в Африку

меня, однако же, взял, хоть и не мог не знать, что я наверняка сбегу через пару месяцев.

Прошла неделя-другая после приезда, и мы стали расспрашивать о Джордже, который хозяйствовал миль за четыреста к северу. Мы его ни о чем не известили.

— Если написать Джорджу, что мы ожидаемся в его краях, он сразу явится и прилипнет к нам с первого дня. В конце концов, мы работать едем, — говорил Скелетик.

Перед отъездом Кэтлин сказала нам:

— Передайте привет Джорджу и скажите ему, чтоб не слал безумных телеграмм каждый раз, как я задерживаюсь с ответом. Скажите ему, что я занята в магазине и вообще разрываюсь на части. Можно подумать, что, кроме меня, у него никого на свете нет, — так он себя ведет.

Сначала мы задержались в форте Виктория, перевальном пункте на пути к развалинам Зимбабве. Там-то мы и навели справки о Джордже. Друзей у него явно было немного. Старые поселенцы, судя по всему, вполне терпимо относились к его сожительству с полукровкой, но очень злобствовали по поводу его табаководческих новшеств, которые, как выяснилось, были насмешкой над агрономией и к тому же таин-

ственным образом предавали белую расу. Мы так и не дознались, почему, если Джордж по-своему выращивает табак, черные начинают много о себе понимать, но старые поселенцы на этом настаивали. Недавние же иммигранты считали его нелюдимом, ну и конечно, раз он живет с какой-то негритоской, то о визитах и говорить нечего.

Я, признаться, и сама была несколько ошарашена этой новостью про темнокожую сожительницу. Я выросла в университетском городе, куда съезжались вест-индские, африканские и азиатские студенты всех цветов и оттенков, и мне внушили, что их надо избегать по соображениям репутации и по предписаниям религии. А через свое воспитание нелегко перешагнуть, если ты не бунтарь по натуре.

Но все же Джорджа мы в конце концов навестили: нас вызвалась подвезти компания, собравшаяся охотиться на севере страны. Он уже слышал о нашем прибытии в Родезию, и хотя при виде нас от сердца у него отлегло, но держался он поначалу донельзя угрюмо.

— Ну, Джордж, ну мы же хотели свалиться тебе как снег на голову.

— Ну, Джордж, ну откуда нам было знать, что ты прослышал о нашем приезде. Слушай, Джордж,

тут у вас новости разносятся со скоростью света.

— Ну, Джордж, ну мы же надеялись сделать тебе сюрприз.

Мы к нему подлещивались и нукали, пока он наконец не сказал:

— Ладно, чего там, приятно все-таки вас повидать. Вот кого не хватает, так это Кэтлин. Нам ох как надо держаться вчетвером. Пожили бы с мое в эдаком местечке, поняли бы, что такое старые друзья.

Он показал нам свои сараи для просушки табака. Он показал нам лужайку, на которой проводил опыты по случке жеребца с зеброй. Животные резвились порознь, не выказывая друг к другу ни приязни, ни отвращения.

— Это уже удавалось, — сказал Джордж. — Выводили чудесную скотину, поумнее мула и покрепче лошади. Но с этой парой мне что-то не везет, они друг на друга смотреть не хотят.

Чуть позже он сказал:

— Пойдем чего-нибудь выпьем, надо вас познакомить с Матильдой.

Она была темно-коричневая, с жалкой впалой грудью и круглыми плечами, нескладная, очень крутая с мальчишками-домочадцами. Мы выпивали на веранде и все умасливали Джорджа,

что было нелегко. Почему-то он стал распекать меня за то, что я не вышла за Скелетика, и говорил, как это, ей-богу, подло — так оплевать наше общее прошлое. Я переключилась на Матильду. Она ведь, наверно, спросила я, в здешних краях каждый кустик знает?

— Нет, — сказала она. — Я была приютная мою жизнь. Мне из места на место нет было нельзя как всякий грязный девчонка.

На всех словах она делала одинаковое ударение.

Джордж пояснил:

— Ее отец был белый, из городских чиновников. Ее воспитали в приюте, не как других цветных, понятно?

— Ну, я же не черноглазый Сузан от соседний двор, — подтвердила Матильда, — я нет.

Вообще же Джордж помыкал ею, как служанкой. Она была чуть ли не на пятом месяце, а он то и дело гонял ее за чем-нибудь. За мылом, например: Матильда сходила принесла мыло. Джордж сам себе варил туалетное мыло, горделиво нам предъявленное, он даже сообщил рецепт, но я его запоминать не стала: пока жива была, я любила хорошее мыло, а Джорджево пахло брильянтином и, чего доброго, пачкалось.

— Вы коричневаешь? — спросила меня Матильда.

Джордж перевел:

— Она спрашивает — к тебе загар хорошо пристает?

— Нет, меня обсыпает веснушками.

— Моя невестка обсыпает веснушки.

Больше она ни слова не сказала Скелетику или мне, и мы ее с тех пор никогда не видели.

Через несколько месяцев я сказала Скелетику:

— Надоело мне таскаться с вами.

Не то чтобы он удивился моему дезертирству, но ужасно было, как я об этом сказала. Он посмотрел на меня с суровым укором.

— Выбирай выражения. Вернешься в Англию или останешься здесь?

— Пока останусь здесь.

— Ну ладно, ты хоть из виду не пропадай.

Я перебивалась гонорарами за колонку светских новостей в местном еженедельнике, хотя, конечно, вовсе не так собиралась я писать о жизни. Покинув замкнутый кружок археологов, я сверх всякой меры обзавелась друзьями. Меня ценили за то, что я недавно из Англии, и за любознательность. Холостяков и предприимчивых семейств, с которыми я исколесила сотни миль по

родезийским дорогам, было без счету, но, вернувшись на родину, я сохранила отношения только с одним семейством. Они как бы остались представительствовать за всех: тамошние похожи друг на друга, словно кучки идолов, разбросанные по пустыне.

Я виделась с Джорджем еще раз — в Булавайо, в гостинице. Мы пили виски со льдом и говорили о войне. Экспедиция Скелетика тогда решала, оставаться им в Африке или ехать домой. Они докопались до самого интересного, и, выберись я к ним в Зимбабве, Скелетик погулял бы со мной при лунном свете по развалинам храма, и я, может статься, увидела бы, как призраки финикийцев мелькают то впереди, то на стенах. Я не вовсе раздумала выйти за Скелетика: пусть только сначала доучится. Надвинувшаяся война висела у всех над душой, и я говорила об этом Джорджу, когда мы сидели и пили виски на гостиничной веранде под жгучим и ярким зимним солнцем африканского июля.

Джордж любопытствовал насчет моих отношений со Скелетиком. Он расспрашивал меня добрых полчаса и отстал лишь после моих слов:

— Джордж, ну что за напор?

Тогда он вдруг разволновался и сказал:

— Война не война, а я отсюда сматываюсь.

— От жары то ли еще на ум взбредет, — сказала я.

— Сматываюсь в любом случае. Я уйму денег просадил на этом табаке. Дядька мой уже с ума сходит. Такие здесь колонисты все мерзавцы: не угодишь им — со свету сживают.

— А как же Матильда? — спросила я.

— Что с ней сделается, — сказал он. — У нее сто человек родни.

Я уже слышала, что родилась девочка. Говорили, черная, как уголь, и копия Джорджа. И будто бы Матильда уже носит следующего.

— А как же с ребенком?

Он ничего на это не сказал. Он заказал еще виски и долго помешивал в своем стакане.

— Тебе двадцать один исполнилось, а ты меня не пригласила? — выговорил он наконец.

— Да я ничего не устраивала, Джордж, никак не отмечала. Ну, выпили рюмку-другую — Скелетик, два старых профессора с женами и я, понимаешь, Джордж.

— На день рождения не позвала, — сказал он. — Вот Кэтлин мне все время пишет.

Это он врал. Писала-то Кэтлин мне, и довольно часто, предупреждая при этом: «Не говори Джор-

джу, что я тебе пишу: он обидится, а мне сейчас вовсе не до него».

— Ну вы же, — сказал Джордж, — вообще плюете на старых друзей, что ты, что Скелетик.

— Ну, Джордж! — сказала я.

— Вспомни, как мы дружили, — сказал Джордж. — Нет, ты вспомни, как мы дружили. — Его большие карие глаза налились слезами.

— Мне вообще-то надо идти, — сказала я.

— Да погоди ты. Погоди меня бросать. Я тебе кое-что расскажу.

— Хорошее что-нибудь? — И я изо всех сил улыбнулась. Ему всегда и на все требовалась повышенная реакция.

— Сама не понимаешь, какая ты везучая, — сказал Джордж.

— Да ну? — огрызнулась я. Иногда мне тошно становилось слушать, что я такая везучая. Бывало, украдкой пробуя писать о жизни, я понимала, чего стоит все мое везение. Когда в моих писаниях жизнь снова и снова не укладывалась и не изображалась, меня все больше затягивала, несмотря на мое беспечное житье, неутолимая тоска по ненаписанному. И так в бессильных писательских потугах я наливалась ядом, который отравлял мне день за днем и брызгал на Скелети-

ка или вообще на кого попало.

— Ни с кем ты не связана, — говорил Джордж. — Хочешь — приходишь, хочешь — уходишь. И все время что-нибудь подвертывается. Ты свободна — и сама не знаешь своего счастья.

— Помалкивал бы насчет свободы, — отрезала я. — У самого-то богатый дядюшка.

— А я ему надоел, — сказал Джордж. — С него вроде хватит.

— Ну и что, у тебя еще все впереди. Что ты хотел мне сказать?

— Секрет, — сказал Джордж. — Помнишь, у нас бывали с тобой секреты?

— Бывали, бывали.

— Ты меня продавала?

— Ну что ты, Джордж. — По правде-то я не помнила ни одного из бессчетных секретов школьных дней или даже более поздних.

— Так вот, это секрет, учти. Уговор — не выдавать.

— Договорились.

— Я женат.

— Джордж, ты женат? На ком это?

— На Матильде.

— Какой ужас! — выпалила я, не подумавши, и он согласился.

— Да, ужасно, а что было делать?

— Со мной мог посоветоваться, — важно сказала я.

— Я тебя на два года старше. Нужны мне твои советы, Иголка сопливая.

— Тогда и сочувствия не жди.

— Ничего себе друзья у меня, — сказал он. — Сколько лет, можно сказать, прожили бок о бок…

— Ну, Джордж, бедняга! — сказала я.

— Тут на трех белых мужчин одна белая женщина, — сказал Джордж. — В глуши и вовсе не увидишь белой, а увидишь — так она тебя не увидит. Что мне было делать? Мне нужна была женщина.

Меня чуть не стошнило. Я получила суровое шотландское воспитание, а фраза «Мне нужна была женщина», которую Джордж к тому же два раза повторил, была омерзительно дешевая.

— Матильда прямо осатанела, — сказал Джордж, — после того, как вы со Скелетиком нас навестили. У нее друзья — миссионеры, так она собрала вещи — и к ним.

— Ну и пусть бы, — сказала я.

— Я кинулся за ней, — сказал Джордж. — Она долбила: женись, женись, я и женился.

— Какой же это секрет, — сказала я. — Такие

новости о смешанных браках мигом облетают всю окрестность.

— Об этом я позаботился, — сказал Джордж. — Может, я и свихнулся, но я ее все-таки повез в Конго, там и поженились. Она обещала держать язык за зубами.

— Ну и как же, ты ведь не можешь теперь улизнуть и бросить ее? — спросила я.

— Нет, я отсюда сматываюсь. Хватит с меня этой женщины и этой страны. Я понятия не имел, каково оно окажется. Два года в здешних краях и три месяца женатой жизни меня доконали.

— Ты что, разведешься с ней?

— Нет, Матильда католичка. Она развода не даст.

Джордж здорово набрался виски со льдом, и я от него не особенно отстала. Его карие глаза заблестели и переполнились, когда он рассказывал, как дядя воспринял его злосчастье.

— Только я ему, конечно, не написал, что женился, это было бы для него слишком. Он все-таки старый колонист и закоренел в предрассудках. Я написал, что у меня ребенок от цветной и что будет еще один, и он меня понял. И сразу прилетел на самолете — несколько недель тому назад. И назначил ей постоянное пособие — лишь бы не

трепалась про меня направо и налево.

— И она не будет?

— Конечно, не будет, а то денег не получит.

— Но она ведь твоя жена и в любом случае может требовать с тебя свое.

— Будет требовать как жена — получит гораздо меньше. Матильда знает, что делает, она такая жадина. Нет, она не будет трепаться.

— Только, Джордж, ты же не сможешь теперь снова жениться?

— Не смогу, если она не умрет, — сказал он. — А она здоровая, как вол, хоть запрягай.

— Ну, Джордж, мне тебя очень жалко, — сказала я.

— И на том спасибо, — сказал он. — Только я по твоему подбородку вижу, что ты меня осуждаешь. Мой старый дядька — и тот понял.

— Ой, Джордж, ну я тоже все понимаю. Тебе, наверно, было очень одиноко.

— Даже на день рождения меня не позвала. Если бы вы со Скелетиком так меня не третировали, я бы никогда не потерял голову и не женился бы на этой бабе, никогда.

— Ты же меня на свадьбу не пригласил, — сказала я.

— Да ты прямо бешеная кошка, а не Иголка.

Разве ты такая была раньше, когда, помнишь, сочиняла и рассказывала нам всякие байки?

— Ладно, я пошла, — сказала я.

— Смотри же, не проболтайся, — сказал Джордж.

— А можно, я Скелетику скажу? Он тебе будет очень сочувствовать, Джордж.

— Никому чтоб не говорила. Секрет есть секрет. Уговор.

— Ладно, уговор, — сказала я. Я поняла, что ему хочется как-то связать нас этим секретом, и подумала: «Что ж, наверно, ему очень одиноко. Секрет так секрет — никому это не повредит».

Я возвратилась в Англию с экспедицией Скелетика перед самой войной.

Джорджа я увидела снова перед самой моей смертью, пять лет назад.

Отвоевав, Скелетик вернулся к учебе. Ему надо было сдать за восемнадцать месяцев еще два экзамена, и я думала, что вот он их сдаст и я, пожалуй, выйду за него замуж.

— Повезло тебе со Скелетиком, — говорила мне Кэтлин во время наших субботних утренних прогулок по антикварным магазинам и барахолкам.

Годы на ней очень сказались. Наши оставшиеся в живых шотландские родственники намекали,

что пора бы нам уже обзавестись семьями. Кэтлин была чуть моложе меня, но выглядела куда старше. Она понимала, что шансы ее падают, однако в то время это ее как будто не очень волновало. Я же думала, что за Скелетика надо выйти главным образом затем, чтобы поехать с ним в экспедицию по Месопотамии. Я подогревала в себе охоту к замужеству постоянным чтением книг о Вавилоне и Ассирии; наверно, Скелетик это чувствовал, потому что снабжал меня книгами и даже начал посвящать в искусство расшифровки клинописи.

На самом же деле Кэтлин была очень озабочена замужеством. Она погуляла во время войны не меньше моего, была даже помолвлена с американским морским офицером, но его убили. Она владела антикварной лавкой в Ламбете, торговля шла хорошо, жила она на Челси-сквер, но при всем том, видно, хотела быть замужем и иметь детей. Она останавливалась и заглядывала во все колясочки, оставленные матерями у входа в магазин или возле подъезда.

Я ей как-то сказала, что такая привычка была у поэта Суинберна.

— Правда? Ему хотелось своего ребенка?

— Да вряд ли. Просто он любил младенцев.

Незадолго до последнего экзамена Скелетик заболел, и его отправили в швейцарский санаторий.

— Опять-таки тебе повезло, что не успела за него выйти, — сказала Кэтлин. — Еще подцепила бы ТБЦ.

Счастливица, удачница… все кругом твердили мне это по разным поводам. Меня это раздражало: оно хоть и было верно, однако не в том смысле, в каком говорилось. Мне очень легко удавалось прокормиться: рецензии на книги, мелкие поручения от Кэтлин, несколько месяцев я проработала в том же рекламном агентстве, составляя речи о литературе, искусстве и жизни все для тех же промышленных магнатов. Я по-прежнему готовилась писать по-настоящему, и мне казалось, что в этом моя судьба, пусть неблизкая. А пока что я жила как зачарованная; все, что надо, всегда подвертывалось само без особых усилий, не как у других. Я вдумалась в свое везение, когда стала католичкой и прошла конфирмацию. Епископ касался щеки конфирманта, символически напоминая о страданиях, которые полагаются на долю каждого христианина. И я подумала: вот и опять повезло — эдакое легкое касание взамен положенного дьявольского надругательства.

За два года я дважды навестила Скелетика в его санатории. Он почти выздоровел и рассчитывал вернуться домой через несколько месяцев. После второй поездки я сказала Кэтлин:

— Пожалуй, выйду-ка я за Скелетика, когда он поправится.

— Решайся, Иголка, раз и навсегда, без всяких «пожалуй». Не ценишь ты, как тебе везет, — сказала она.

Это было пять лет назад, я тогда жила последний год. Мы с Кэтлин очень сблизились. Мы встречались по нескольку раз на неделе, а после наших субботних вылазок на Портобелло-Роуд я часто сопровождала Кэтлин к ее тетушке в Кент и оставалась там на субботу и воскресенье.

Как-то в июне мы с Кэтлин условились вместе пообедать — она позвонила, что есть новость.

— Представляешь, кто сегодня явился ко мне в магазин? — сказала она.

— Кто?

— Джордж!

Мы уж наполовину похоронили Джорджа. От него лет десять как не было писем. В начале войны доходили слухи, будто он держит притон в Дурбане, а потом ни вестей, ни слухов. Не мешало бы о нем и разузнать, если б нас что-нибудь на

это подвигло.

Однажды, когда о нем зашла речь, Кэтлин сказала:

— Надо бы мне как-то связаться с беднягой Джорджем. Одного боюсь — переписку заведет. И потребует, чтобы ему отвечали раз в месяц.

— Нам надо держаться вчетвером, — передразнила я.

— Ох, представляю себе, как у него глаза при этом укоризненно переполняются, — сказала Кэтлин.

Скелетик сказал:

— Да он, наверно, освоился там с кофейной сожительницей и развел дюжину детишек орехового цвета.

— Вероятнее, что умер, — сказала Кэтлин.

Я не стала рассказывать ни о супружестве Джорджа, ни вообще о его излияниях тогда в гостинице. Годы шли, и мы упоминали о нем только походя, как о человеке для нас более или менее умершем.

Когда Джордж опять возник, Кэтлин разволновалась. Она забыла, как она его в свое время терпеть не могла, и теперь повторяла:

— Как это было дивно — милый старый Джордж. Он так истосковался по друзьям, отбился от сво-

их, затерялся.

— Видно, материнской заботы не хватает.

Кэтлин не заметила ехидства. Она заявила:

— Ну да, вот именно. Джорджу всегда этого не хватало, я теперь поняла.

Она как будто готова была резко изменить суждение о Джордже в лучшую сторону. За утро он успел рассказать ей о своем дурбанском притоне военных лет и о своих недавних охотничьих экспедициях. О Матильде явно и речи не было. Кэтлин сказала мне, что он располнел, но ему это даже идет.

Мне любопытно было поглядеть на обновленного Джорджа, но назавтра я уезжала в Шотландию и увиделась с ним только в сентябре, перед самой смертью.

Из писем Кэтлин ко мне в Шотландию я поняла, что с Джорджем она видится очень часто, что ей с ним приятно, что она каждый раз ждет не дождется встречи. «Ты сама удивишься, насколько он теперь другой». Должно быть, он целыми днями околачивался в магазине возле Кэтлин. «Он чувствует себя при деле», — как она по-матерински выразилась. У него была престарелая родственница в Кенте, и он туда ездил на субботу-воскресенье; старушка жила за несколько миль

от тетки Кэтлин, так что Кэтлин и Джордж могли выезжать вместе в субботу и бродить вдвоем по сельским окрестностям.

«Вот ты увидишь, что Джордж совсем уже другой», — сказала Кэтлин в сентябре, когда я вернулась в Лондон. Мы должны были свидеться втроем ввечеру — это было в субботу. Тетка Кэтлин уехала за границу, служанку отпустили, и нам с Кэтлин предстояло развлекать друг друга в пустом доме.

Джордж уехал из Лондона в Кент за два дня до этого. «По-настоящему взялся за дело, помогает там убирать урожай», — любовно сказала мне Кэтлин.

Мы с Кэтлин собирались поехать вместе, но в ту субботу ее непредвиденно задержали в Лондоне по какому-то делу. Было договорено, что я отправляюсь вперед и позабочусь о продуктах на всю компанию: Кэтлин пригласила Джорджа с нами пообедать.

— Я подъеду к семи, — сказала она. — Ты ведь не против, что дом пустой? Сама-то я терпеть не могу приезжать в пустые дома.

Я сказала, что нет, я пустые дома люблю.

Очень даже оказался милый дом, и очень мне понравился: обиталище викария XVIII века,

кругом восемь пустых акров, комнаты большей частью закрыты и завешены, и всего-то одна служанка. Оказалось, что мне нет нужды идти за покупками: тетка Кэтлин оставила массу вкуснятины с пришпиленными записками: *«Съешьте это оч. прошу см. тж. в хол-ке»* или *«Хватит накормить троих см. тж. 2 бтл. домашн. вина на сл. вечеринки угл. кух. стол»*. Я разыскивала указанное по тихим и прохладным хозяйственным помещениям и чувствовала себя кладоискательницей. Дом без людей — но по всем признакам обитаемый — может быть прекрасным, спокойным пристанищем. Тем более что люди обычно занимают в доме несоразмерно много места. Когда я бывала здесь раньше, комнаты казались прямо переполненными: Кэтлин, ее тетка и маленькая толстая служанка сновали туда-сюда. Когда я пробиралась по обитаемой части дома, раскрывала окна и впускала бледно-золотистый сентябрьский воздух, я, Иголка, не сознавала себя во плоти, я могла быть призраком.

Осталось только пойти за молоком. Я подождала до четырех, чтобы подоили коров, и отправилась на ферму через два поля позади фруктового сада. Там-то, когда скотник вручал мне бутылку с молоком, я и увидела Джорджа.

— Привет, Джордж, — сказала я.

— Иголка! Ты что здесь делаешь? — удивился он.

— Молоко покупаю, — сказала я.

— И я тоже. Ну, надо сказать, приятная встреча.

Мы расплатились, и Джордж сказал:

— Я с тобой немного пройдусь. Только рысью, а то моя старая кузина ждет не дождется молока к чаю. А что Кэтлин?

— Задержалась в Лондоне. Будет позже — наверно, прямо к семи.

Мы пересекли первое поле. Джорджу надо было налево, на дорогу.

— Ну что ж, стало быть, нынче вечером свидимся? — сказала я.

— Да, поболтаем о днях минувших.

— Чудненько, — сказала я.

Но Джордж прошел за мной на другое поле.

— Слушай-ка, Иголка, — сказал он. — У меня к тебе два слова.

— Вечером, вечером, Джордж. А то твоя кузина молока заждалась. — Я заметила, что разговариваю с ним, как с ребенком.

Мы пошли через второе поле. Я надеялась побыть в доме одна еще пару часов и настроена

была нетерпеливо.

— Смотри-ка, — вдруг сказал он, — тот самый стог.

— Да-да, — рассеянно отозвалась я.

— Давай посидим там, поговорим. Как бывало, на стогу полежишь. У меня сохранилась та фотография. Помнишь, как ты…

— …нашла иголку, — поторопилась я, чтобы покончить с этим.

Отдохнуть, однако же, было приятно. Стог немного завалился, но пристроились мы там неплохо. Я зарыла свою бутылку в сено, чтобы молоко не нагрелось. Джордж осторожно поставил свою внизу под стогом.

— Моя старая кузина рассеянна до невозможности, бедняжечка. Она немного не в себе. У нее никакого чувства времени. Я ей скажу, что ходил всего десять минут, и она поверит.

Я хихикнула и посмотрела на него. Лицо его стало куда шире прежнего, а губы сочные, широкие, налитые как-то не по-мужски. Его карие глаза по-прежнему переполняла смутная мольба.

— Значит, все-таки решила после стольких-то лет выйти за нашего Скелетика?

— Право, не знаю, Джордж.

— Ну, ты его и поводила за нос.

— Это уж не тебе судить. Позволь мне иметь свои резоны.

— Да не брыкайся ты, — сказал он, — я просто шучу. — В доказательство он вырвал клок сена и провел мне им по лицу. — Знаешь ли, — сказал он затем, — по-моему, вы со Скелетиком все-таки плоховато обошлись со мной тогда, в Родезии.

— Ну, Джордж, мы были заняты. Мы тогда вообще были моложе, много еще надо было сделать и увидеть. Да и к тому же мы ведь могли еще сто раз с тобою встретиться, Джордж.

— Себялюбие, и не более того, — сказал он.

— Ну ладно, Джордж, я пошла. — И я стала слезать со стога.

Он подтянул меня обратно.

— Погоди, мне надо тебе кое-что сказать.

— Надо, так говори.

— Сперва уговор — ни слова Кэтлин. Она пока не велела говорить, чтобы ты от нее самой узнала.

— Ладно. Уговор.

— Я женюсь на Кэтлин.

— Но ты уж и так женат.

Иногда до меня доходили вести о Матильде от того семейства в Родезии, с которым я поддерживала переписку. Они ее называли «Джорджева

смуглая леди» — и, конечно, не знали, что он на ней женат. Она, видно, здорово пообчистила Джорджа (так мне писали), а теперь только и делает, что шляется, вся расфуфырившись, ни о какой работе и слышать не хочет и сбивает с панталыку скромных цветных девушек по всей округе. Видимо, ее там считали живым примером несусветного идиотизма Джорджа: вот, мол, как не надо.

— Я женился на Матильде в Конго, — заметил Джордж.

— И все-таки это будет двоеженство, — сказала я.

От слова «двоеженство» он рассвирепел. Он рванул пук сена, будто собрался ткнуть мне им в лицо, но пока что овладел собой и стал меня этим сеном шутливо обмахивать.

— Не уверен я, что какой-то там брак в Конго и вообще действителен, — продолжал он. — А в моей жизни он ровным счетом ничего не значит.

— Нет, это не дело, — сказала я.

— Мне нужна Кэтлин. Она такая добрая. По-моему, мы с Кэтлин всегда были предназначены друг другу.

— Мне надо идти, — сказала я.

Но он прижал мне ноги коленом, и я не могла

двинуться. Я сидела смирно, с отсутствующим видом. Он пощекотал мне лицо соломинкой.

— Улыбнись, Иголка, — сказал он, — поговорим, как прежде.

— Ну?

— Никто не знает, что я женат на Матильде, кроме тебя и меня.

— И самой Матильды, — сказала я.

— Она помолчит, пока ей за это платят. Дядька мой ассигновал ей ежегодное содержание, уж за этим юристы присмотрят.

— Пусти-ка меня, Джордж.

— Ты обещала меня не выдавать, — сказал он, — уговор был.

— Да, был уговор.

— И ты теперь выйдешь за Скелетика, мы переженимся между собой, как надо, как давно надо было. Надо было, но молодость, наша молодость нам помешала, ведь верно?

— Жизнь нам помешала, — сказала я.

— Ну вот, все и уладится. Ты ведь не выдашь меня, правда? Ты обещала! — Он отпустил мои ноги. Я от него слегка отодвинулась.

Я сказала:

— Если Кэтлин вздумает выйти за тебя, я скажу ей, что ты женат.

— Нет, не сделаешь мне такой пакости, а, Иголка? Ты будешь счастлива со Скелетиком и не станешь препятствовать моему…

— Ничего не поделаешь, Кэтлин — моя лучшая подруга, — перебила я.

Он посмотрел на меня, будто сейчас убьет, и немедля убил — он натолкал мне в рот сена, до отказа, придерживая мое тело коленями, чтобы я не дергалась, и зажав мои кисти своей левой ручищей. Последнее, что я видела в этой жизни, был его налитой алый рот и белая полоска зубов. Кругом не было ни души, и он тут же захоронил мое тело: разрыл сено, чтобы получилась выемка по длине трупа, и накидал сверху теплой сухой трухи, так что получился потайной холмик, очень естественный в полуразваленном стогу. Потом Джордж слез, взял бутылку с молоком и отправился своей дорогой. Наверно, поэтому он так и побледнел, когда я почти через пять лет остановилась у лотка на Портобелло-Роуд и дружелюбно сказала: «Привет, Джордж!»

«Убийство на стогу» было едва ли не коронным преступлением того года.

Мои друзья говорили: «Вот кому жить бы да жить».

Мое тело искали двадцать часов, и, когда на-

шли, вечерние газеты оповестили: «„Иголку“ нашли в стоге сена!»

Кэтлин, рассуждавшая с католической точки зрения, не для всех привычной, заметила: «Она была на исповеди за день до смерти — вот счастливица!»

Беднягу скотника, который продавал нам молоко, раз за разом тягали в местную полицию, а потом в Скотленд-ярд. Джорджа тоже. Он признал, что расстался со мной возле стога, но, по его словам, не задерживался там ни минуты.

— Вы ведь с ней не виделись десять лет? — спросил его инспектор.

— Около того, — сказал Джордж.

— И не остановились поболтать?

— Нет. Наговорились бы позже, за обедом. Моя кузина заждалась молока, и я торопился.

Старушка кузина присягнула, что он отлучался всего на десять минут, и свято верила в это до дня своей смерти, последовавшей через несколько месяцев. На пиджаке Джорджа были обнаружены микроскопические частицы сена, но в этот урожайный год такие частицы имелись на пиджаке любого мужчины в округе. К несчастью, у скотника руки были еще крепче и мускулистее, чем у Джорджа. На моих запястьях, как показало

лабораторное обследование моего трупа, остались следы именно от таких рук. Но одних следов на запястьях было недостаточно, чтобы служить уликой против того или другого. Вот не будь я в джемпере, синяки бы как раз, может, и пришлись бы по чьим-нибудь пальцам.

Чтобы доказать полиции, что Джорджу совершенно незачем было меня убивать, Кэтлин заявила, что они помолвлены. Джордж счел, что это глуповато. Поинтересовались его житьем в Африке, докопались до сожительства с Матильдой. Но не до брака — кому могло прийти в голову поднимать конголезские архивы? Да и тут мотива для убийства не обнаружилось бы. И тем не менее Джордж вздохнул спокойно только после того, как следствие миновало оставшийся в тайне брак. Нервное расстройство он словно подгадал к таковому же у Кэтлин, они почти одновременно оправились от потрясения, а когда поженились, полиция давным-давно уже допрашивала летчиков из казармы за пять миль от дома тетки Кэтлин. По поводу этих допросов летчики немало волновались и чрезвычайно много выпили. «Убийство на стогу» осталось одним из таинственных преступлений года.

А заподозренный скотник вскоре эмигрировал

в Канаду и начал там новую жизнь на деньги Скелетика, который ему очень сочувствовал.

Когда в ту субботу Кэтлин увела Джорджа домой с Портобелло-Роуд, я подумала, что, быть может, мы с ним снова увидимся в сходных обстоятельствах. В следующую субботу я его высматривала — и точно, он появился, уже без Кэтлин, в тревоге и в надежде обмануться.

Надежды его были недолговечны. Я сказала:

— Привет, Джордж!

Он уставился на меня — и застрял на оживленной улице, среди рыночной толпы. Я подумала про себя: «Скажи пожалуйста, будто сеном объелся». На эту мысль, смехотворно-поэтичную, как сама жизнь, наводили его пышные соломенно-желтые усы и борода вокруг сочного рта.

— Привет, Джордж! — снова сказала я.

Утро было благоприятное: я, может быть, сказала бы по наитию и еще что-нибудь, но он не стал дожидаться. Он свернул в переулок, выбежал на другую улицу, потом на третью — и запетлял, спасаясь от Портобелло-Роуд.

Но через неделю он явился опять. Бедняжка Кэтлин привезла его на машине. Она остановилась в начале улицы и вылезла вместе с ним, крепко держа его под руку. Я огорчилась, что

Кэтлин не обращает никакого внимания на искрящиеся прилавки. Сама я уже подметила дивную шкатулку вполне в ее вкусе и еще пару серебряных сережек с эмалью. Она же не замечала этих изделий, а жалась к Джорджу, и — бедная Кэтлин! — ужас сказать, как она выглядела.

И Джордж осунулся. Глаза его сузились, как от неотпускающей боли. Он продвигался по улице, волоча Кэтлин и колыхаясь вместе с нею из стороны в сторону в русле уверенной толпы.

— Ну знаешь, Джордж! — сказала я. — Ты совсем худо выглядишь, Джордж!

— Гляди! — сказал Джордж. — Вон там, за скобяным товаром. Это она, Иголка!

Кэтлин плакала.

— Вернемся домой, милый, — сказала она.

— Ну и вид у тебя, Джордж! — сказала я.

Его забрали в лечебницу. Он вел себя преспокойно, только в субботу утром они не знали, что с ним делать, — ему нужно было на Портобелло-Роуд.

И через пару месяцев он все-таки сбежал. В понедельник.

Его искали на Портобелло-Роуд, но он поехал в Кент, в деревню неподалеку от «убийства на стогу». Там он пошел в полицию и во всем со-

знался, но по разговору его было понятно, что он не в себе.

— Я сам видел, три субботы подряд Иголка там шьется, — объяснил он, — а они сунули меня к душевнобольным, и я сбежал, пока санитары возились с новеньким. Помните, Иголку убили, — так вот, это я убил. Я вам сказал всю правду, и теперь она, сука Иголка, будет молчать.

Мало ли несчастных и полоумных сознаются в каждом нераскрытом убийстве? Полиция вызвала санитарную машину, и его отвезли в знакомую лечебницу. Пробыл он там недолго. Кэтлин продала свой магазин и взяла его под домашний присмотр. Но всякое субботнее утро ей тоже давалось нелегко. Он все рвался на Портобелло-Роуд, повидаться со мной, и снова хотел ехать доказывать, что это он убил Иголку. Однажды он принялся рассказывать о Матильде, но Кэтлин так нежно и внимательно слушала его, что у него, должно быть, не хватило храбрости припомнить толком, что он хотел сказать.

Скелетик еще со времени убийства был с Джорджем холодноват. Но Кэтлин он жалел. Он-то их и убедил эмигрировать в Канаду, чтоб Джордж был подальше от Портобелло-Роуд.

В Канаде Джордж несколько пришел в себя,

но прежним Джорджем ему уже, конечно, не быть, как замечает Кэтлин в письме к Скелетику. «Этой трагедии на стогу сена Джордж просто не вынес, — пишет она. — Я иногда больше жалею Джорджа, чем бедную Иголку. Однако за упокой души Иголки я очень часто заказываю мессы».

Вряд ли мы с Джорджем увидимся еще на Портобелло-Роуд. Он подолгу разглядывает тот свой затертый снимок, где мы лежим на стогу. Кэтлин эту фотографию не любит, да оно и неудивительно. А по-моему, снимок веселенький, только я не думаю, что мы в самом деле были такие милые, как там. Мы лежим, глядя во все глаза на пшеничное поле: Скелетик с ироническим видом, я — иначе, надежнее, чем остальные, а Кэтлин кокетливо подперлась локтем, и на лице каждого из нас заснят отблеск земной прелести, которой словно и конца не будет.

Член семьи

— Тебе надо бы прийти к нам и познакомиться с моей матерью, — неожиданно сказал Ричард под Рождество. Труди уже давным-давно ждала этого приглашения, но все равно удивилась. — Надеюсь, встреча с ней доставит тебе удовольствие, — добавил Ричард. — Во всяком случае, мать с нетерпением ждет тебя.

— Разве она обо мне знает?

— Конечно, — ответил Ричард.

— О!

— Только не надо волноваться, — посоветовал Ричард. — Она очень милая и со всеми ладит.

— Да, это наверняка так и есть. Конечно, я очень хотела бы…

— Приходи на воскресное чаепитие, — заключил он.

Они встретились прошлым летом в Блейлахе — одном из самых невзрачных приозерных городков южной Австрии. Труди отдыхала там со своей подругой по имени Гвен, которая в Лондоне снимала тесную комнатку в гостинице «Кенсингтон», как раз над номером Труди. В отличие от

последней, Гвен умела объясняться по-немецки.

— Я и не думала, что здесь может быть так дождливо, — сказала Труди на третий день их отпуска, стоя перед закрытым двустворчатым окном и печально глядя на лениво стекающие по стеклу струйки воды. — Совсем как в Уэльсе.

— Вчера ты говорила то же самое, — с усмешкой ответила Гвен. — А ведь погода была ясная. Тем не менее, ты заявила, что все это точно как в Уэльсе.

— Да, но и вчера чуточку моросило.

— Но когда ты сказала, что все это точно как в Уэльсе, как раз светило солнце. Конечно, отчасти ты права…

— В гораздо большей степени, чем ты думаешь. И все же я не представляла, что здесь может быть так сыро… — Труди осеклась, услышав, как Гвен вполголоса считает до двадцати.

— Я понимаю, что ты приехала попытать счастья, — наконец сказала Гвен. — Но, боюсь, это не лучшее твое лето.

Шум дождя усилился как бы в подтверждение ее слов.

«Уж лучше захлопнуть ставни», — подумала Труди.

— Может, мы сглупили, и надо было поехать в

более дорогое местечко?

— Между прочим, дождь поливает и дорогие местечки. С равным успехом он поливает и достойные, и убогие местечки в этом мире. То же, кстати, касается и людей.

Гвен стукнуло тридцать пять. Она была школьной учительницей. И ее костюм, и прическа, и даже карандашик губной помады — от них веяло такой чопорностью, что Труди, по-прежнему стоявшую у окна в тоскливом созерцании дождя, вдруг осенило: Гвен уже оставила всякие надежды на замужество.

— То же касается и людей, — задумчиво повторила Гвен.

Но на другой день установилась хорошая погода. Подружки купались в озере, потом сидели под оранжево-белым навесом на террасе гостиницы, потягивали яблочный сок и любовались сияющими непорочной белизной вершинами. Потом гуляли: Гвен — в своих небесно-голубых шортах, Труди — в пышном летнем костюме. По набережной слонялись туристы со всего света: грузные, прилично одетые немецкие матроны, сопровождаемые степенными мужьями и невозмутимыми детьми, тощие англичанки с непременным перманентом, резвые балаболы французы.

— Нет, я обязательно, обязательно должна заняться своим разговорником, — сказала Труди. У нее было предчувствие: если она научится обходиться без посредничества Гвен, которая все же стесняла свободу, то ей больше повезет.

— Ты полагаешь, что тогда повысится вероятность встретить кого-нибудь? — Гвен как будто подтверждала ее мысли, и Труди чуть вздрогнула.

— О, и совсем не за этим. Я намерена просто отдыхать. Я не…

— Боже, Ричард!

Труди вздрогнула еще раз, а Гвен уже болтала по-английски с мужчиной, который, со всей очевидностью, не сопровождал ни жену, ни тетушку, ни сестрицу. Он мило чмокнул Гвен в щеку. Гвен со смехом отплатила ему той же монетой.

— Замечательно, замечательно, — проговорил Ричард.

Он был чуть выше Гвен, темноволосый, с тонкими пегими усиками, широкогрудый.

— Как это тебя сюда занесло? — спрашивал он у Гвен, с любопытством косясь на Труди. — Вот уж не чаял встретить здесь знакомых, да еще из Лондона…

Он остановился в гостинице на противопо-

ложном берегу. В течение последующих двух недель Ричард каждый день переплывал озеро на лодке, чтобы ровно в десять утра встретиться с соотечественницами, и иногда оставался до самого вечера. Труди была очарована Ричардом и с некоторым трудом верила в приятельское безразличие к нему Гвен. Правда, как ей стало известно, они работали в одной школе и ежедневно виделись там. А это обстоятельство, по мнению Труди, служило достаточно веским основанием для стойкого равнодушия.

В один из дней Гвен укатила по каким-то своим делам и оставила их вдвоем.

— Между прочим, тут отдыхают только самые утонченные ценители, — заявил Ричард. — Давай-ка пройдемся и осмотрим городок.

Труди восторженно разглядывала отслаивающиеся пласты штукатурки на стенах маленьких домиков, обсаженные цветами старые балконы, луковки славянских церквей — теперь все это и впрямь казалось ей красивым и притягательным.

— Здесь живут не только австрийцы? — спросила она.

— Нет. Хватает и немцев, и французов. Это местечко многих привлекает красотой и тишиной.

Исполненный уважения взгляд Ричарда то и дело останавливался на молодых шумливых обитателях спортивного лагеря, разбивших свои палатки на лугу у озера. Все они были долговязые, резвые, носили свободные и короткие одеяния. Юноши и девушки возились и визжали, как ягнята, хотя и сохраняли при этом известное достоинство.

— О чем у них идет речь? — полюбопытствовала Труди, когда они проходили мимо одной особенно веселой компании.

— О последних мотогонках, в которых они якобы участвовали.

— Разве они мотогонщики?

— Нет. Гонок, о которых они говорят, вообще никогда не было. Ну и что с того? Иногда, например, они рассуждают о киносъемках, которых тоже никто не проводил. Потому-то они и смеются.

— Не ахти как забавно, право слово.

— Они из разных стран, так что их юмор сводится к шуткам, которые понятны всем без исключения. Вот они и болтают о вымышленных мотогонках.

Труди хихикнула, чтобы не показаться пресным сухарем, и пытливо взглянула на своего спутника.

Как-то раз Ричард обронил, что ему уже тридцать пять лет, и Труди сочла это вполне вероятным.

— А мне почти двадцать два, — сказала она.

Ричард метнул на нее взгляд и быстро отвел глаза, потом вдруг снова пристально посмотрел и взял Труди за руку. А все потому, как он объяснил ей впоследствии, что эти дивные слова были почти равноценны предложению любви. Любовь и началась — в тот же день после обеда, посреди озера, когда они сбросили обувь и принялись раскачивать лодку. Труди визжала и далеко откидывалась назад, плотно прижимая свои голые ступни к босым ногам Ричарда.

— Боже, как чудесно я провела время с Ричардом, — говорила она Гвен, когда они под вечер встретились в номере. — Странно, но я всегда нравлюсь зрелым мужчинам.

Гвен села на кровать и смерила Труди удивленным взглядом.

— Ричард ненамного старше тебя, — сказала она.

— Э… ну, я чуток скостила себе годы, — Труди усмехнулась. — Думаешь, зря?

— И сколько же ты «скостила»?

— Э… ну… э… семь лет.

— Очень смело с твоей стороны, — пробормотала Гвен.

— А тебе не кажется, что ты немножко злючка?

— Нет. Я хотела сказать, что твердить одну и ту же ложь снова и снова можно лишь при наличии известной смелости. Некоторым женщинам это наскучивает.

— О, я совсем не такая искушенная и опытная, как тебе кажется.

— Оно и верно: большой пользы из своего житейского опыта ты не извлекаешь, — рассудила Гвен. — Но неужели самая удачная женская тактика сводится к тому, чтобы вечно оставаться двадцатилетней?

— Ты просто заревновала, — сухо сказала Труди. — Вот и рассуждаешь как дамочка не первой молодости. Во всяком случае, не это надеялась я от тебя услышать.

В последний день отпуска Ричард пригласил Труди на лодочную прогулку. В озере отражалось низкое серое небо.

— А здорово похоже на Виндермер, правда? — спросил он.

Труди сроду не видела Виндермера, но согласилась, что очень, и посмотрела на Ричарда

сияющими глазами двадцатилетней девушки.

— Порой это местечко напоминает мне Йоркшир, — сказал Ричард. — Правда, только в пасмурные дни. А вон там, где горы, — ни дать ни взять Уэльс.

— Именно это я тогда и сказала! — обрадованно воскликнула Труди. — Я сказала: Уэльс! Я сказала: это точно как Уэльс. А Гвен тотчас же стала спорить. Ты знаешь, она так стара душой, так заскорузла, да еще и школьная учительница… Кстати, ты давно с ней знаком?

— Несколько лет, — ответил Ричард. — Гвен очень славная и большой друг моей матери. Можно сказать, едва ли не член семьи.

Поначалу Труди хотела съехать со своей лондонской квартирки в другое место, но потом похерила эту затею, поскольку ей все-таки неохота было покидать Гвен. Та каждый день видела Ричарда в школе и хорошо знала его мать. Кроме того, продолжительное знакомство Гвен с Ричардом помогало Труди заполнить пробел в сведениях о том отрезке его жизни, о котором она не имела ни малейшего представления и который, естественно, весьма и весьма интриговал ее.

Она часто вбегала в комнату Гвен со своими

наивными вопросами влюбленной девушки-подростка: «Гвен, как ты считаешь, если он дожидался меня у конторы и довез до дома, а потом назначил свидание на семь часов и еще пригласил вместе провести выходные… Что это значит, по-твоему?»

— Он звал тебя к себе домой, чтобы представить матери? — безо всякого воодушевления осведомилась Гвен.

— Нет, еще нет. О, ты полагаешь, он пригласит?

— Да, я так думаю. Рано или поздно он это сделает.

— Нет, ты правда так думаешь? — Труди с девической порывистостью обняла Гвен.

— Когда приезжает твой отец? — слегка отстранившись, тихо спросила та.

— Нескоро, если вообще приедет. Сейчас он не может покинуть Лестер и вдобавок ненавидит Лондон.

— Ты должна вызвать его. А с Ричардом поговорить и решительно выяснить его намерения. Девушкам твоего возраста необходима защита.

Труди то и дело расспрашивала Гвен о Ричарде и его матушке.

— Они состоятельные люди? Что у них за дом?

Почему Ричард до сих пор не женат? Его мать, она избалованная женщина?

— Люси просто чудесная, — отвечала Гвен.

— О, ты называешь ее Люси! Наверное, вы с ней очень близки?

— Да, я почти член их семьи, — говорила Гвен.

— Ричард часто упоминает об этом. Ты бываешь там каждое воскресенье?

— За редкими исключениями, — говорила Гвен. — Иногда у них и впрямь бывает весело, а порой просто видишь свежие лица.

— Почему же он не зовет меня знакомиться с матерью? — восклицала Труди. — Будь жива моя матушка и живи она здесь, в Лондоне, я бы уж, конечно, пригласила его домой, чтобы представить ей.

— Неужели это так важно?!

— Но ведь это был бы вполне определенный шаг… Мне все же хочется знать, что я для него значу. В конце концов, мы оба влюблены, и мы свободны. А то я порой начинаю думать, что у него в отношении меня вообще нет серьезных намерений. Но если он пригласит меня познакомиться со своей матерью, это будет вполне определенный шаг, правда?

— Да, да, конечно, — отвечала Гвен.

— Я даже чувствую, что не смогу позвонить ему домой, пока не встречусь с его матерью. Я бы стеснялась говорить по телефону. Я должна сначала познакомиться с ней. Это уже превращается в какую-то навязчивую идею.

— Воистину так, — подтвердила Гвен. — А почему бы тебе не сказать ему: Ричард, я хочу познакомиться с твоей матерью?

— Ну что ты, Гвен, есть вещи, которые девушка не может себе позволить.

— Девушка — нет, но женщина-то может…

— Опять ты цепляешься к моему возрасту! Я же говорила, что ощущаю себя двадцатилетней. Я осознаю себя двадцатилетней. Я — двадцатилетняя во всем, что касается Ричарда. Впрочем, я и не думала, что ты сумеешь мне чем-нибудь помочь. В конце концов, ты сама никогда не имела успеха у мужчин, так ведь?

— Нет, не имела, — ответила Гвен. — Я с самого рождения была ужасно старой.

— А я думаю, что, если хочешь иметь успех у мужчин, надо изо всех сил цепляться за молодость.

— Мне кажется, мало проку в том, чтобы осуждать состояние, в котором пребываешь по не зависящим от тебя причинам, — рассудила Гвен.

Труди расплакалась и убежала к себе, но спустя полчаса вернулась, чтобы задать Гвен еще несколько вопросов о матери Ричарда. Теперь она вообще редко покидала Гвен — разве что когда уходила гулять с возлюбленным.

Она уже потеряла всякую надежду и стала подумывать, что надоела Ричарду, как вдруг под Рождество он сказал:

— Тебе надо бы прийти к нам и познакомиться с моей матерью. Надеюсь, встреча с ней доставит тебе удовольствие. Во всяком случае, мать с нетерпением ждет тебя.

— Разве она обо мне знает?

— Конечно.

— О!

— Наконец-то свершилось! Все чудесно! — воскликнула Труди, вбегая к Гвен и едва переводя дыхание.

— Он пригласил тебя домой, чтобы познакомить со своей матерью, полуутвердительно спросила та, не отрываясь от тетрадок.

— Но это очень важно для меня, Гвен!

— Оно понятно…

— Я собираюсь пойти в воскресенье к обеду, — сообщила Труди. — Ты будешь там?

— Не раньше ужина.

— Все это так много значит для меня, Гвен.

— Это начало, — сказала Гвен. — Начало положено.

— О, я убеждена в этом…

Ричард заехал за ней в четыре часа. Он выглядел озабоченным и, вопреки обыкновению, не распахнул для Труди дверцу машины, а только чуть подвинулся и подождал, пока она сядет рядом. Труди решила, что он, вероятно, нервничает в преддверии ее первого знакомства с матерью.

Миссис Ситон оказалась рослой, чуть сутуловатой женщиной с редкими серебристо-белыми волосами и большими светлыми глазами.

— Я надеюсь, вы будете звать меня Люси, — сказала она. — Вы курите?

— Я? Нет, что вы! — поспешно ответила Труди.

— Зря. Успокаивает нервы, — сообщила миссис Ситон. — Вероятно, пока у вас нет в этом необходимости. Не припекло еще.

— Но ведь… — недоуменно пробормотала Труди. — Ах, какая прекрасная комната, миссис Ситон!

— Люси, — поправила хозяйка.

— Люси, — едва слышно повторила Труди, очень смущаясь и робко поглядывая на Ричарда. Но он пил чай и смотрел в окно, как будто пытал-

ся определить, когда же, наконец, распогодится.

— Ричард должен отлучиться и будет к ужину, — сказала миссис Ситон, небрежно разминая сигарету. — Не забывай наблюдать часы, счастливец, ты слышишь? А Труди, я надеюсь, останется пока со мной. Уверена, нам найдется, о чем поговорить. — Она посмотрела на Труди и едва заметно подмигнула — будто бабочка взмахнула крылом.

Труди приняла приглашение с заговорщицким кивком и изящно откинулась в кресле. Она ожидала, что Ричард сообщит, куда намерен отправиться, но он неотрывно смотрел в окно, отбивая пальцами нестройную дробь по обшивке дорогого кресла.

— По воскресеньям Ричард всегда гуляет, — со вздохом заметила его мать, как только он вышел.

— Да, да, я знаю, — сказала Труди так, что сразу стало понятно, кто составляет ему компанию на воскресных прогулках.

— Я полагаю, вам хотелось бы знать о Ричарде все, — произнесла миссис Ситон таинственным шепотом, хотя поблизости никого не было. При этом она тихонько и гнусавенько засмеялась и подняла плечи так высоко, что едва не коснулась

ими ушей.

Труди неумело скопировала ее жест и придвинулась поближе.

— О, да, миссис Ситон, — сказала она.

— Люси! Вы должны называть меня Люси, я же говорила. Я хочу, чтобы мы с вами стали настоящими друзьями и чтобы вы чувствовали себя у нас прямо-таки членом семьи. Хотите осмотреться в доме?

Она повела Труди наверх и показала свою пышную спальню, одна стена которой была сплошь зеркальной, так что все предметы в комнате, в том числе и фотографии Ричарда и его отца на ночном столике странно раздваивались.

— Это Ричард на пони. Он обожал своего пони. Мы тогда жили в деревне. А вот отец Ричарда в самом конце войны. Что вы тогда делали, милая?

— Училась в школе, — со всем возможным простодушием ответила Труди.

— Боже мой, как я ошиблась, — сказала миссис Ситон, задумчиво глядя на нее. — Я-то думала, вы ровесница Ричарда и Гвен. Гвен так мила. А вот Ричард-выпускник. До сих пор не могу понять, почему он пошел в школьные учителя. Впрочем, о нем хорошо отзываются. Все, кроме Гвен. Вам нравится Гвен?

— Гвен гораздо старше меня, — невпопад ответила Труди, расстроенная предположениями миссис Ситон относительно своего возраста.

— Она должна вот-вот объявиться. Гвен всегда приходит к ужину. А теперь я покажу вам другие комнаты и логово Ричарда.

На пороге комнаты Ричарда его мать на миг замешкалась и, зачем-то прижав палец к губам, оставила дверь открытой. По сравнению с другими комнатами эта оказалась темной, неопрятной, похожей на спальню школьника. Пижамные штаны Ричарда валялись на полу рядом с кроватью, на том самом месте, где он из них вылез. Подобное зрелище было уже знакомо Труди по их с Ричардом посещениям гостиниц в долине Темзы.

— Ах, как неопрятно, — сказала мать Ричарда, удрученно качая головой. Когда-нибудь он разведет тут мышей.

К ужину пришла Гвен и повела себя совершенно как дома: сразу отправилась на кухню делать салат. Миссис Ситон нарезала ломтиками холодное мясо, а Труди отиралась поблизости, прислушиваясь к их беседе, свидетельствовавшей о долгих и довольно тесных отношениях. Было заметно, что мать Ричарда заискивает пе-

ред Гвен.

— …Нет, дорогая, сегодня ее не будет.

— А Джоанна?

— Видишь ли, поскольку это первый визит Труди, едва ли она приедет.

— Помоги-ка мне сервировать стол, — позвала Гвен Труди. — Вот здесь ножи и вилки.

За ужином миссис Ситон сказала:

— Как-то странно и необычно, что за столом нас только трое. Обычно по воскресеньям у нас так весело. На следующей неделе, Труди, вы должны непременно прийти и перезнакомиться со всеми нашими, не правда ли, Гвен?

— О, да, — согласилась Гвен. — Непременно.

— Ричард припоздниться и едва ли сможет проводить вас домой. Несносный мальчишка, о чем он только думает? — сказала мать Ричарда.

По пути к автобусной остановке Гвен спросила:

— Ну, как, теперь ты довольна, что встретилась с Люси?

— Вроде да. Но Ричард мог бы и остаться. Тогда было бы совсем здорово. Полагаю, он хотел, чтобы я самостоятельно с ней пообщалась. Но вообще-то я очень нуждалась в поддержке. Должно быть, он не думал, что ты будешь к ужину. Наверное,

считал, что мы с его матерью проговорим целый вечер.

— По воскресеньям я всегда ужинаю у Люси, — сказала Гвен, пожимая плечами.

На следующей неделе Труди виделась с Ричардом всего один-единственный раз в кафе, и то очень недолго.

— Экзамены, — извинился он. — Я очень занят, дорогая.

— Экзамены под Рождество? Мне казалось, они уже прошли.

— Подготовка отчета, — поправился он. — Уйма работы.

Он отвез Труди домой, чмокнул в щеку и уехал. Глядя вслед машине, она вдруг почувствовала, что ненавидит его усики. Но тотчас же одернула себя и решила, что еще слишком юна, чтобы обсуждать таких мужчин, как Ричард.

Он заехал за ней в четыре пополудни в воскресенье. И объявил:

— Матушка жаждет видеть тебя и надеется, что ты останешься у нас до ужина.

— Но ты никуда не уйдешь, Ричард?

— Нет, сегодня нет.

Однако ему все же пришлось отправиться на какую-то встречу, о которой мать напомнила

сыну тотчас же после обеда.

Труди рассматривала альбом с фотографиями, затем слушала пространные рассказы о том, как миссис Ситон познакомилась с отцом Ричарда в Швейцарии и что он носил в те времена.

В половине седьмого начался ужин. Присутствовало трое дам, включая Гвен. Одна, ее звали Грейс, была довольно смазлива, с ее личика не сходила удивленная мина. Другая, по имени Айрис, выглядела аж лет на сорок. У нее была подчеркнуто грубоватая повадка.

— И где же его носит, нашего свинтуса Ричарда? — спросила она.

— Откуда мне знать, — со вздохом сказала мать Ричарда. — Разве могу я у него спрашивать?

— Не судите его строго. Он много работал на этой неделе, наш непревзойденный милый учитель, — сказала Грейс со своей удивленной гримаской.

— Весьма посредственный, должна вам заметить, — вставила Гвен.

— А мне кажется, — заспорила Грейс, — что в школе он просто великолепен.

— Этот шекспировский тип действительно бывает великолепен, но только в самом конце весеннего семестра, перед отпуском, — проворчала

Айрис. — Жму ему за это лапу, старому свинтусу.

— Замечательно, Айрис, — воскликнула мать свинтуса. — Ты тоже должна признать, Гвен…

— Очень дурной актеришко, если уж поминать Шекспира, — отрезала Гвен.

— Возможно, ты и права, но ведь его ученики — всего лишь дети. Для них достаточно и тех способностей, которыми он наделен, — печально промолвила миссис Ситон.

— Я обожаю Ричарда, — сказала Грейс, — когда он напускает на себя такой деловой, такой важный вид.

— О да, — согласилась Айрис. — Ричард просто прелесть, когда начинает корчить из себя важную особу.

— Да, да, это так, — с благоговейным обожанием сказала его мать. Знаете, это было в самом начале его учительской карьеры, однажды он…

Когда все расходились, миссис Ситон сказала Труди:

— Вы придете на следующей неделе, не правда ли? Я хочу, чтобы вы чувствовали себя здесь совсем своей. Будут еще двое подруг Ричарда, я хочу, чтобы вы и с ними познакомились. Старые добрые друзья…

По дороге к автобусной остановке Труди спро-

сила Гвен:

— Ты не находишь, что это как-то глупо — бывать у миссис Ситон каждое воскресенье?

— И да, мое юное создание, и нет. Время от времени видишь там свежие лица. А это уже какое-никакое развлечение.

— Ричард когда-нибудь бывает с вами?

— Нет, обычно он где-то пропадает. Да, впрочем, ты прекрасно знаешь, где. Остаемся только мы и миссис Ситон.

Труди вдруг остановилась посреди мостовой.

— А эти женщины, они кто? — спросила она.

— О, это старые подруги Ричарда.

— И часто они видятся с ним?

— Теперь уже нет, милая. Теперь они просто члены семьи.

Дочери своих отцов

Она оставила старика в шезлонге на берегу — только сперва собственными руками передвинула зонт и собственными руками поправила у него на голове панаму, чтобы солнце не било в глаза. Пляжный служитель уже косо на нее поглядывал, но она считала, что незачем бросаться чаевыми ради того, чтобы передвинуть зонт или поправить панаму. После денежной реформы меньше одного франка на чай не дашь. А по всему побережью словно сговорились припрятать от приезжих всю мелочь, и в кошельке только франковые монеты, и отца расстраивать ни в коем случае нельзя, и…

Держась в раскаленной тени, она торопливо шла по улице Паради, а вокруг носились старые-престарые запахи Ниццы: не только запах чеснока, долетавший из разных кафе, и аромат горячего прозрачного воздуха, но и запахи, сохранившиеся в воспоминаниях о тридцати пяти летних сезонах в Ницце, о снимавшихся прежде гостиничных номерах, о летнем салоне отца, о детях его приятелей и самих приятелях, писателях, молодых художниках, бывавших в Ницце

пять, шесть, девять лет назад. А тогда, до войны, двадцать лет назад… когда мы приехали в Ниццу, помнишь, отец? Помнишь пансион на бульваре Виктора Гюго — мы тогда еще жили небогато? Помнишь американцев в Негреско в 1937 году? Как они изменились с тех пор, как поскромнели! Помнишь, отец, в старые времена мы не любили толстых ковров… точнее, ты их не любил, а того, чего не любишь ты, не люблю и я, разве не так, отец?

Да, Дора, мы не стремимся к роскоши. Комфорт — другое дело.

Боюсь, в этом году жить в гостинице у моря нам будет не по карману, отец.

Что? О чем это ты?

Я о том, что нам, наверно, не стоит в этом году жить в гостинице на набережной, отец. На Променад-дез-Англе толпа туристов. И ты сам говорил, что не любишь толстых ковров…

Да-да, разумеется.

Разумеется. Вот я и предлагаю остановиться в гостинице, которую я подыскала на бульваре Гамбетты, а если нам там не понравится, то и на бульваре Виктора Гюго есть совсем неплохой отель — как раз нам по средствам, отец, недорого и…

О чем это ты?

Я о том, что это не какие-нибудь плебейские номера, отец.

А! Да.

Тогда я напишу им и забронирую две комнаты, пусть небольшие, но зато питание…

С видом на море, Дора.

Гостиницы с видом на море — страшное плебейство, отец. Там такой шум! Ни минуты покоя. Времена изменились.

А! Ладно, дорогая, оставляю все на твое усмотрение. Напиши им, что номер должен быть просторный, чтобы было где принимать гостей. Не жалей никаких затрат, Дора.

Ну конечно, отец.

«Дай-то бог, чтобы нам повезло в лотерею, — думала она, торопливо шагая по переулку к лотерейному киоску. — На кого-то же должен прийтись выигрыш». Загорелая блондинка-киоскерша не без интереса относилась к Доре, которая не пропускала ни одного утра, — нет чтобы купить газету и узнать о результатах. Киоскерша склонилась над билетом и, держа в руке табличку с цифрами, проверила Дорин билет с выражением искреннего сочувствия на лице.

— Не везет, — сказала Дора.

— А вы рискните завтра, — ответила блондинка. — Как знать! Жизнь — лотерея…

Дора улыбнулась, как человек, которому остается либо улыбаться, либо плакать. По пути к морю она подумала: «Завтра куплю пятисотфранковый билет». Потом решила: «Нет-нет, не стоит, а то кончатся франки, и придется прежде времени везти отца домой».

Дора, здесь отвратительно кормят. — Знаю, отец, но во Франции всюду теперь так, времена изменились. — По-моему, нам надо переехать в другую гостиницу, Дора. — В других гостиницах очень дорого, отец. — Что? О чем это ты? — Из-за туристов, отец, нигде не осталось свободных номеров.

По дороге к морю она проходила мимо красивых юношей и девушек с загорелыми ногами. «Здесь надо ценить каждую минуту, — подумала она. — Может быть, все это в последний раз. Это лазурное море, эти белозубые улыбки и невинный лепет, эти пальмы — за все это мы и платим».

— Все в порядке, отец?

— Где ты была, дорогая?

— Бродила по улицам, смотрела, чем дышит

город.

— Ты вся в меня, Дора. Что ты видела?

— Загорелые тела, белые зубы. За окнами кафе мужчины, сняв пиджаки, играют в карты, а на столе перед ними бутылки зеленого стекла.

— Хорошо… Ты все видишь моими глазами, Дора.

— Теплынь, воздух, загорелые ноги — за это мы и платим, отец.

— Дора, извини, но что за плебейский тон! В глазах истинного художника жизнь — не предмет купли. Мир принадлежит нам. По праву рождения. Мы берем его даром.

— Я не художник, не то что ты, отец. Давай я подвину зонт — тебе вредно долго сидеть на солнце.

— Времена изменились, — сказал он, глядя на прибрежную гальку. — Современная молодежь равнодушна к жизни.

Дора понимала, что имеет в виду ее отец. По всему побережью юноши радовались воздуху, девушкам, солнцу: отряхиваясь, они выходили из моря, ступали по гальке, снова бросались в воду; они впитывали в себя жизнь всеми порами тела, как сказал бы отец в прежние времена, когда еще писал книги. Теперь, говоря, что «молодежь

равнодушна к жизни», он хотел сказать, что растерял всех молодых учеников, всех почитателей — они состарились, у них появились свои заботы, и никто не пришел на их место. Последним, кто домогался внимания отца, был малокровный юноша, — хотя дело, конечно, не во внешности, — который лет семь назад приехал к ним в Эссекс. Отец частенько сидел с молодым человеком по утрам в библиотеке и беседовал с ним о книгах, о жизни и о добром старом времени. Но он, последний ученик отца, через две недели уехал, пообещав прислать им статью, которую собирался написать об отце и его творчестве. Вместо этого он прислал письмо: «Глубокоуважаемый Генри Каслмейн! У меня не хватает слов, чтобы выразить восхищение…» И больше о нем ничего не было слышно. Дора не очень огорчилась. Его и сравнивать нельзя было с теми, кто когда-то посещал отца. В юности Дора могла бы выйти замуж за кого-нибудь из трех-четырех активных членов каслмейновского кружка, но не вышла, потому что должна была помогать своему овдовевшему отцу в общественной деятельности; а теперь ей порою казалось, что, выйди она замуж, отцу было бы лучше, — наверно, в старости ему перепало бы что-нибудь из доходов ее мужа.

Дора сказала:

— Нам пора в гостиницу, обедать.

— Пообедаем лучше в другом месте. Кормят там...

Она помогла отцу встать с шезлонга и, повернувшись лицом к морю, благодарно вдохнула теплый голубой бриз. Из воды вышел молодой человек, отряхнулся, не глядя по сторонам, и обрызгал ее; потом, заметив, что он сделал, он обернулся и, тронув ее за руку, воскликнул: «Ой, извините, пожалуйста!» Это был англичанин, и обратился он к ней по-английски — она давно знала: все с первого взгляда видят, что она англичанка. «Пустяки», — ответила она и усмехнулась. Отец нетерпеливо постукивал тростью, инцидент был исчерпан, и Дора, сразу забыв о нем, взяла отца под руку и повела его через широкий раскаленный проспект, посреди которого полицейский в белой форме остановил стремительный поток машин. «Как бы тебе понравилось, если бы тебя арестовал такой вот, в белой форме, а, Дора?» Он засмеялся своим горловым торопливым смехом и взглянул на нее. «Я была бы в восторге, отец». Может быть, он согласится никуда не заходить по дороге. Лишь бы добраться до гостиницы, и все будет в порядке — отец от усталости не станет

спорить. Но тут он сказал: «Зайдем куда-нибудь пообедать».

— Мы же заплатили за обед в гостинице, отец.

— Что за плебейство, голубушка!

Когда в марте следующего года Дора познакомилась с Беном Донадью, у нее было такое чувство, что она уже видела его где-то, но где — вспомнить не могла. Позже она ему об этом рассказала, но и Бен ничего не помнил. И все же ощущение, что они уже когда-то встречались, не покидало Дору всю жизнь. Она пришла к выводу, что знала Бена в предыдущем существовании. На самом деле она видела его на пляже в Ницце: он вышел из воды, отряхнулся, обрызгал ее и, тронув за руку, извинился.

— Что за плебейство, голубушка! В гостинице отвратительно кормят. Ничего похожего на французскую кухню.

— Во Франции теперь всюду так, отец.

— В переулке у казино был ресторан… как бишь его… Пошли туда. Все писатели там бывают.

— Больше уже не бывают, отец.

— Ну, тем лучше. Все равно пошли туда. Как же этот ресторан называется?.. Пошли, пошли! Я найду дорогу с завязанными глазами. Все писатели там бывали…

Она рассмеялась — ведь, что ни говори, он такой милый. По дороге к казино она так и не сказала ему… Писатели, отец, больше там не бывают. Они не ездят в Ниццу — людям скромного достатка это не по карману. Но в этом году, отец, здесь живет один писатель, его зовут Кеннет Хоуп, ты о нем не слыхал. Он ходит на наш пляж, и я однажды видела его — это тихий худощавый человек средних лет. Но он знать никого не хочет. Он изумительно пишет, отец. Я читала его — он прорубает в душе окна, заложенные кирпичом сто лет назад. Я читала «Изобретателей» — этот роман принес ему огромную славу и богатство. Это книга об инженерах-изобретателях, о том, как они живут, как работают и любят, и, когда читаешь ее, кажется, что весь город, где изобретатели живут, переполнен ими. У него есть это колдовское свойство, отец: всему, что он говорит, веришь. Ничего этого Дора не сказала вслух, потому что ее отец тоже прекрасно писал когда-то и не заслужил забвения. К его имени относились с почтением, а о книгах говорили мало и совсем их не читали. Он не понял бы славы Кеннета Хоупа. Отец писал книги о человеческой совести — никому совесть не давалась так, как отцу.

— Вот мы и пришли, отец… это тот ресторан.

— Нет, Дора, тот дальше.

— Так ты хочешь в «Тамбрил»? Но там страшно дорого!

— Право же, милая!

Она решила, сославшись на жару, заказать только ломтик дыни и бокал вина, которое любит отец. Они вошли в ресторан, высокие и стройные. Ее волосы были зачесаны назад, у нее были славные черты лица, небольшие глаза, всегда готовые улыбнуться, — ведь она решила остаться старой девой и честно сыграть эту роль. На вид ей было лет сорок шесть, и все же она казалась моложе. У нее была сухая кожа и тонкие губы, делавшиеся все тоньше оттого, что вечно не хватало денег. Отцу давали восемьдесят лет — ему и было восемьдесят. Тридцать лет назад люди смотрели ему вслед и говорили: «Вот идет Генри Каслмейн».

Бен лежал на своем матрасе на животе. Рядом с ним на своем матрасе лежала Кармелита Хоуп. Расположившись на парапете, они ели булочки с сыром и пили белое вино, которое принес им из кафе пляжный служитель. Загар облекал тело Кармелиты, как идеально сшитое платье. Окончив школу, она перепробовала разные профессии за кулисами теле- и киностудий. Теперь

она опять была без работы. Кармелита подумывала выйти замуж за Бена — он был так непохож на других, так весел и серьезен. Кроме того, Бен хорош собой: он ведь наполовину француз, хоть и вырос в Англии. Ему тридцать один — интересный возраст. Бен работает в школе, но, может быть, отец пристроит его в рекламное агентство или в издательство. Если бы отец похлопотал, он бы многое мог сделать для них обоих. Если она выйдет замуж, отец, надо надеяться, похлопочет.

— Ты вчера видела отца, Кармелита?

— Нет, он же уехал куда-то на побережье. Наверно, на какую-нибудь виллу ближе к итальянской границе.

— Я бы хотел почаще с ним встречаться, — сказал Бен. — И поговорить с ним. До сих пор мы с ним так и не поговорили.

— Он ужасно стесняется моих друзей, — ответила Кармелита.

Иногда ей было досадно, что Бен заговаривает с ней об отце. Бен прочел вдоль и поперек все его книги; перечитывать книги по второму и третьему разу, как будто память не в порядке, — это какая-то мания, казалось Кармелите. Она думала, что Бен любит ее только потому, что она дочь Кеннета Хоупа, но потом решила, что этого не мо-

жет быть: ведь ни деньги, ни успех не интересуют Бена. Кармелита знала немало дочек знаменитых людей, и всех их одолевали поклонники, которым нужны были только деньги и успех отцов. Но Бена в ее отце привлекали книги.

— Он никогда мне не мешает, — сказала она. — В этом он молодец.

— Я хотел бы серьезно с ним поговорить, — повторил Бен.

— О чем?.. Он не любит говорить о своей работе.

— Да, но он же не обычный человек. Я хотел бы постичь его душу.

— А мою?

— У тебя прелесть, а не душа. Полная ленивой неги. Бесхитростная.

Пальцем он провел от ее колена к лодыжке. На Кармелите было розовое бикини. Она была прехорошенькая и до восемнадцати лет мечтала стать кинозвездой. Скоро ей должен был исполниться двадцать один год. Теперь она считала, что лучше выйти за Бена, чем выбиваться в актрисы, и от этого испытывала облегчение. Она не бросила Бена, как других. В других она поначалу влюблялась по уши, но тут же к ним охладевала. Бен — интеллектуал, а интеллектуалов ни с того

ни с сего не бросают. Такие люди открываются не сразу. Находишь в них все новое и новое… Наверно, в ней говорит отцовская кровь, вот ее и тянет к интеллигентам вроде Бена.

Бен жил в маленькой гостинице, в переулке у старой набережной. На лестнице было темно, комната с балкончиком была под самой крышей. Кармелита жила на вилле у друзей. Много времени она проводила в комнате у Бена и иногда оставалась там на ночь. Лето выдалось исключительно счастливое.

— Если мы поженимся, — сказала она, — тебе почти не придется встречаться с отцом. Он работает и ни с кем не видится. А когда он не пишет, уезжает. Может быть, он опять женится, и тогда…

— Ну и что, — перебил он. — Я женюсь на тебе, а не на твоем отце.

Дора Каслмейн окончила курсы фонетистов, но никогда не работала по специальности. В тот год после рождественских каникул она устроилась на полставки в школу на Безил-стрит в Лондоне — там она должна была учить самых способных мальчиков, говоривших с грубым акцентом, правильному английскому произношению. Ее отец изумился.

— Деньги, деньги, вечно ты говоришь о деньгах. Давай займем. Кто же живет без долгов!

— Кто же даст нам в долг, отец? Не будь таким наивным.

— А что говорит Уэйт?

Уэйт был молодой человек из издательства, который занимался гонорарами Каслмейна, таявшими год от года.

— Нам и так заплатили больше, чем причитается.

— Ну что за вздор: ты — и вдруг учительница.

— Это кажется вздором тебе, — ответила она в конце концов, — но не мне.

— Дора, ты серьезно решила взяться за эту работу?

— Да. Я так этого жду!

Отец не поверил ей, но сказал:

— Мне кажется, Дора, теперь я стал для тебя обузой. Пожалуй, я обессилею и умру.

— Как Оутс на Южном полюсе, — прокомментировала Дора.

Он посмотрел на нее, она — на него. Они любили друг друга и понимали друг друга с полуслова.

Среди учителей она была единственной женщиной, да и положение у нее было особое. В учительской у нее имелся свой угол, и, желая вся-

чески показать мужчинам, что она не намерена навязываться, Дора обычно, если была свободна, клала перед собой какой-нибудь еженедельник и погружалась в него с головой, поднимая глаза, только чтобы поздороваться с преподавателями, которые входили в учительскую, держа стопки тетрадей под мышкой. Доре не надо было проверять тетради: она была как бы на отшибе, ее дело — ставить гласные. Сперва один учитель, а потом и другой заговорили с ней на большой перемене, когда она передавала им сахар к кофе. Некоторым учителям едва исполнилось тридцать. Рыжеусый физик только-только окончил Кембридж. Никто не спрашивал ее, как спрашивали, бывало, лет пятнадцать назад начитанные молодые люди: «Простите, мисс Каслмейн, вы не родственница Генри Каслмейна, писателя?»

Той же весной Бен после школы прогуливался с Кармелитой под деревьями Линкольнз-Инн-Филдз и смотрел, как играют дети. Бен и Кармелита были красивой парой. Кармелита работала секретаршей в Сити. Ее отец уехал в Марокко, а перед отъездом пригласил их на обед в ресторан, чтобы отметить их помолвку.

Бен сказал:

— У нас в школе работает одна женщина. Она

преподает фонетику.

— Да? — сказала Кармелита.

Она нервничала, потому что, когда ее отец уехал в Марокко, Бен придал новый оборот их отношениям. Он больше не разрешал ей оставаться у него в Бейсуотере на ночь даже по выходным. Бен говорил, что воздержание пойдет им на пользу: летом они поженятся, а до этого им будет чего ждать. «И потом, я хочу понять, — добавлял он, — что мы значим друг для друга помимо секса».

Только тогда она почувствовала, как сильна его власть над ней. Кармелита думала, что Бен ведет себя так жестко потому, что хочет, наверное, еще упрочить свою власть. На самом деле он просто хотел понять, что они значат друг для друга помимо секса.

Как-то она без предупреждения зашла к Бену и застала его за чтением. На столе, словно ожидая своей очереди, лежали груды книг.

Кармелита предъявила ему обвинение:

— Ты готов от меня отделаться, лишь бы читать свои книжки.

— В четвертом классе проходят Троллопа, — объяснил он, указывая на роман Троллопа в стопке книг.

— Но ты же не Троллопа читаешь!

Бен читал биографию Джеймса Джойса. Он швырнул книгу на стол и сказал:

— Я всю жизнь читаю, Кармелита, и ты с этим ничего не сделаешь.

Она села.

— А я и не собираюсь, — ответила она.

— Знаю, — сказал Бен.

Он писал очерк о ее отце. Ей бы хотелось, чтобы отец проявил больше интереса к Бену. Когда отец угощал их обедом, лицо у него было светское — мальчишеское и улыбчивое. Кармелита знала отца и иным, когда он в приступе подавленности, казалось, не мог вынести даже солнечного света.

— Что с тобой, отец?

— Во мне разыгрывается комедия ошибок, Кармелита.

В таком настроении он целыми днями, ничего не делая, просиживал за письменным столом. Потом ночью вдруг начинал работать, а после спал допоздна, и постепенно, день за днем, тоска его отпускала.

— Тебя к телефону, отец… насчет интервью.

— Скажи, что я на Ближнем Востоке.

— Что ты думаешь о Бене, отец?

— Милейший человек, Кармелита. По-моему, ты выбрала удачно.

— Он интеллектуал… а я, сам знаешь, люблю интеллектуалов.

— По типу он мне напоминает студента. Таким он и останется.

— Он хочет написать о тебе очерк, отец. Он прямо помешался на твоих книгах.

— Да.

— Может, поможешь ему, отец? Поговоришь с ним о твоей работе?

— О господи, Кармелита! Мне легче самому написать этот распроклятый очерк.

— Ну хорошо, хорошо. Я же только спросила.

— Не нужны мне ученики, Кармелита. Глаза б мои их не видели.

— Ну хорошо. Я и так знаю, отец, что ты художник, — нечего демонстрировать мне свой темперамент. Я ведь только хотела, чтобы ты помог Бену. Я ведь только…

Я ведь только хотела, чтобы отец помог мне, думала она, гуляя с Беном по Линкольнз-Инн-Филдз. Надо было сказать так: «Говори с Беном побольше, если хочешь мне помочь». А отец спросил бы: «Что ты имеешь в виду?» А я бы ответила: «Сама не знаю». А он бы сказал: «Ну, если сама не знаешь, то откуда мне знать?»

Бен говорил:

— У нас в школе работает одна женщина. Она преподает фонетику.

— Да? — нервно сказала Кармелита.

— Некая мисс Каслмейн. Она уже четвертый месяц работает, а я только сегодня узнал, что она дочь Генри Каслмейна.

— Он же умер! — вырвалось у Кармелиты.

— Я тоже так считал. А он, оказывается, не умер и живет себе в Эссексе.

— Сколько лет мисс Каслмейн? — спросила Кармелита.

— Она уже не молода. Ей за сорок. Даже под пятьдесят. Она милая женщина, классическая английская старая дева. Следит, чтобы мальчики не говорили «транвай» и «телевизер». Вполне могла бы жить где-нибудь в Глостершире и заниматься выжиганием по дереву. Только сегодня я узнал…

— Если тебе повезет, он, наверно, пригласит тебя в гости, — сказала Кармелита.

— Да она уже пригласила меня съездить к нему как-нибудь на выходные. Мисс Каслмейн все устроит. Она прямо расцвела, когда выяснилось, что я почитатель Каслмейна. Многие, наверно, считают, что он умер. Конечно, его книги принадлежат прошлому, но что за книги! Ты читала «Берег моря»?.. Это его ранняя вещь.

— Нет, но я читала «Грех бытия» — так, кажется? Это…

— Ты хочешь сказать «Грешник и бытие». Там есть великолепные места. Каслмейн не заслужил забвения.

Кармелита испытала острое раздражение против отца, а потом — отчаяние, и, хотя это ощущение еще не стало для нее привычным, она уже задумывалась о том, не то же ли самое чувствует отец, когда в полном унынии сидит целыми днями, глядя перед собой и страдая, а потом целыми ночами пишет, каким-то чудом изгоняя из себя боль и перенося ее в прозу, полную терпкого веселья.

Она беспомощно спросила:

— Каслмейн пишет хуже отца, правда?

— Да как их можно сравнивать? Каслмейн пишет иначе. Нельзя сказать, что один хуже другого, пойми же!

Взглядом теоретика он посмотрел на дымовые трубы Линкольнз-Инна. Таким она любила Бена сильнее всего. «В конце концов, — подумала она, — не будь Каслмейнов, для нас обоих все было бы куда сложнее».

— Отец, это ни на что не похоже. Разница в шестнадцать лет… Что люди скажут?

— Милая Дора, это плебейство. Какая разница, что скажут люди! Сам по себе возраст ничего не значит, если есть взаимное влечение, настоящее сродство душ.

— У нас с Беном много общего.

— Знаю, — сказал он и сел в кресле поглубже.

— Я смогу уйти с работы, отец, и снова быть тут с тобой. На самом деле мне никогда не хотелось там работать. А теперь твое здоровье пошло на поправку…

— Знаю.

— А Бен будет приезжать по вечерам и на выходные. Ты ведь с ним подружился?

— Бен — замечательный человек, Дора. Он далеко пойдет. Он восприимчив.

— Он мечтает спасти твои книги от забвения.

— Знаю. Ему нужно бросить работу, я ему уже говорил, и целиком посвятить себя критике. Он прирожденный эссеист.

— Ах, отец, пока что он не сможет уйти с работы, ничего не поделаешь. Нам нужны деньги. Без его заработка нам не обойтись, мы…

— Что? О чем это ты?

— Я о том, что его подстегивает работа в школе, он сам так считает, отец.

— Ты его любишь?

— В мои годы так просто не скажешь, отец.

— Для меня вы оба дети. Ты его любишь?

— Мне кажется, — ответила она, — что я его давным-давно знаю. Иногда мне чудится, что я знала его всю жизнь. Я уверена, что мы встречались раньше, быть может даже в предыдущем существовании. И этим все сказано. В том, что я выхожу за Бена, есть что-то от предопределения, понимаешь?

— Кажется, да.

— В прошлом году он был помолвлен, правда недолго, и должен был жениться на совсем юной девушке, — сказала она. — На дочери одного писателя, Кеннета Хоупа. Ты о нем знаешь, отец?

— Понаслышке, — ответил он. — Бен, — добавил он, — прирожденный ученик.

Она посмотрела на него, он — на нее. Они любили друг друга и понимали друг друга с полуслова.

Черная мадонна

Когда Черную Мадонну устанавливали в церкви Иисусова Сердца, освятить статую прибыл сам епископ. Двое наиболее кудрявых мальчиков-певчих несли шлейф его длинной порфиры[11]. Когда во главе процессии, распевавшей литании святых, он шествовал от пресвитерии[12] к церкви, неожиданно разгулялось, и октябрьское солнце одарило их неярким светом. За епископом шли пятеро священников в белых облачениях из тяжелого, затканного блестящими нитями шелка; четверо должностных лиц из мирян в красных мантиях; затем члены церковных братств и нестройные ряды Союза Матерей.

В новом городе Уитни-Клей было немало католиков, особенно среди медсестер только что открытой больницы, а также среди рабочих бумажной фабрики, которые перебрались из Ливерпуля, соблазненные новым жилым массивом.

---

[11] Примечания: 11

Порфира — роскошное, обычно пурпурного цвета облачение высших сановников церкви, надеваемое по торжественным случаям.

[12] Примечания: 12

Пресвитерия — здесь: дом католического священника, расположенный на участке, прилегающем к храму.

Порядочно их было и на консервном заводе.

Черную Мадонну пожертвовал церкви один новообращенный. Он вырезал ее из мореного дуба.

— Ствол нашли в болоте, пролежал в трясине не одну сотню лет. Тут же по телефону вызвали скульптора. Он поехал в Ирландию и вырезал статую прямо на месте. Вся хитрость в том, чтобы не дать дереву высохнуть.

— Что-то она смахивает на современное искусство.

— Никакая она не современная, сделана по старинке. Довелось бы вам поглядеть на современное искусство, вы бы *сразу* поняли, что она по старинке сработана.

— Смахивает на совре…

— Нет, *по старинке*. А то бы ее не разрешили поставить в церкви.

— Она не такая красивая, как Непорочное Зачатие, что в Лурде. Вот та берет за сердце.

Но в конце концов все привыкли к Черной Мадонне, ее квадратным рукам и прямо ниспадающим одеждам. Раздавались голоса, что ее надо бы обрядить пороскошнее или, на худой конец, украсить кружевным облачением.

— Вам не кажется, святой отец, что выглядит она как-то уныло?

— Нет, — отвечал священник, — мне кажется, она выглядит превосходно. Принарядив ее, мы только исказили бы линии скульптуры.

Посмотреть на Черную Мадонну приезжали даже из Лондона, причем не католики, а, по словам настоятеля, скорее всего неверующие — заблудшие души, хотя и наделенные талантами. Они приезжали, словно в музей, увидеть те самые линии, которых не следовало искажать облачением.

Новый город Уитни-Клей проглотил стоявшую на его месте деревушку. От нее остались парочка домиков со сдвоенными чердачными окнами, таверна под вывеской «Тигр», часовня методистов и три лавчонки. До лавчонок уже добирался муниципалитет, методисты пытались отстоять свою часовню, и только один дом со сдвоенными чердачными окнами да таверна находились под охраной государства, с чем волей-неволей пришлось смириться городскому совету по планированию.

Город был разбит на геометрически правильные квадраты, секторы (там, где проходила окружная дорога) и равнобедренные треугольники. Узор нарушался только в одном месте, где в черту города вклинивались остатки деревеньки,

походившие с высоты птичьего полета на игривую завитушку.

Мэндерс-роуд образовывала сторону параллелограмма из обсаженных деревьями улиц. Она была названа в честь одного из отцов концерна по переработке фруктов («Фиги Мэндерса в сиропе») и состояла из квартала магазинчиков и длинного многоэтажного жилого дома, известного под именем «Криппс-Хауз», названного в честь покойного сэра Стаффорда Криппса, который заложил первый камень в его основание. На шестом этаже этого дома, в квартире № 22 проживали Рэймонд и Лу Паркеры. Рэймонд Паркер работал на автозаводе начальником цеха и входил в правление. Они были женаты уже пятнадцать лет, и Лу перевалило за тридцать семь, когда пошли слухи о чудесах Черной Мадонны.

Из двадцати пяти супружеских пар, живших в «Криппс-Хаузе», пять исповедовали католичество. У всех, кроме Лу и Рэймонда, были дети. Шестую семью муниципалитет незадолго до того переселил в отдельный шестикомнатный домик, потому что у них было семь душ детей, не говоря о дедушке.

Считалось, что Паркерам повезло: не имея детей, они умудрились выхлопотать трехком-

натную квартиру. Семьям с детьми оказывалось предпочтение, но Паркеры стояли на очереди вот уже много лет. Поговаривали также, что у Рэймонда была «рука» в муниципалитете, где директор завода занимал пост советника.

Паркеры относились к тем немногим жильцам «Криппс-Хауза», у кого были собственные автомобили. Телевизора, в отличие от большинства соседей, они не держали; будучи бездетными, они могли себе позволить культивировать вкус к изящному, так что в своих привычках и развлечениях отличались — в первых меньше, во вторых больше — от обитателей соседних квартир. На новый фильм они шли только в том случае, если «Обзервер»[13] хвалила картину; смотреть телевизор полагали ниже своего достоинства; были крепки в вере, голосовали за лейбористов и считали, что двадцатый век лучше всех предыдущих; принимали учение о первородном грехе и часто награждали эпитетом «викторианский»[14] все, что им не нравилось, — и людей и представления.

---

[13] Примечания: 13

«Обзервер» — английская еженедельная газета лейбористского толка, известная своей эстетической взыскательностью.

[14] Примечания: 14

Викторианский — относящийся ко времени царствования британской королевы Виктории (1837–1901); в переносном смысле — старомодный, устаревший, пуритански-ограниченный.

Когда, например, местный советник муниципалитета подал в отставку, Рэймонд заметил: «У него не было выбора. Он викторианец, к тому же слишком молод для должности». А Лу считала уж слишком «викторианскими» романы Джейн Остин[15]. «Викторианцем» становился всякий, кто выступал против отмены смертной казни. Рэймонд регулярно читал «Ридерс дайджест», журнал «Автомобильное дело» и «Вестник католицизма». Лу читала «Куин», «Женский журнал» и «Лайф»[16]. Они подписывались на газету «Ньюс кроникл». Каждый прочитывал по две книжки в неделю. Рэймонд отдавал предпочтение книгам о путешествиях, Лу любила романы.

Первые пять лет совместной жизни их беспокоило, что у них нет детей. Оба прошли медицинское обследование, после которого Лу прописали курс вливаний. Вливания не помогли. Это было тем большим разочарованием, что сами они

---

[15] Примечания: 15

Джейн Остин (1775–1817) — английская писательница, классик литературы; скончалась до рождения королевы Виктории.

[16] Примечания: 16

«Ридерс дайджест» — популярный и весьма несолидный литературно-художественный журнал, публикующий произведения мировой литературы в «сокращенном» виде; *«Куин»* («Королева») — популярный иллюстрированный журнал для женщин; *«Лайф»* («Жизнь») — популярный иллюстрированный общественно-политический еженедельник, издающийся в США.

появились на свет в многодетных католических семьях. Состоявшие в браке сестры и братья Лу и Рэймонда все имели не меньше трех ребятишек, а у вдовой сестры Лу их было целых восемь; Паркеры посылали ей по фунту в неделю.

Их квартирка в «Криппс-Хаузе» состояла из трех комнат и кухни. Соседи копили на собственные дома; обосновавшись на государственной площади, они рассматривали ее лишь как очередную ступень многоступенчатой ракеты, призванной доставить их к заветной цели. Лу с Рэймондом не разделяли этих честолюбивых помыслов. Их казенная обитель не только им нравилась — они были от нее в полном восторге, даже находили в ней нечто аристократическое, самодовольно подумывая, что в этом отношении они стоят выше предрассудков «среднего класса», к которому, по правде говоря, сами принадлежали.

— Придет время, — говорила Лу, — когда будет модно жить в казенной квартире.

Друзья у них были самые разные. Тут, правда, Рэймонд и Лу не во всем бывали согласны. Рэймонд считал, что Экли надо приглашать вместе с Фарреллами. Мистер Экли работал бухгалтером в отделе электроснабжения. Мистер и миссис Фаррелл служили: он — сортировщиком у Мэндерса

(«Фиги в сиропе»), она — билетершей в кинотеатре «Одеон».

— В конце концов, — убеждал Рэймонд, — и те и другие — католики.

— Не спорю, — возражала Лу, — но у них нет общих интересов. Фарреллам просто не понять, о чем говорят Экли. Экли любят порассуждать о политике, Фарреллы предпочитают анекдоты. Пойми, это не снобизм, а здравый смысл.

— Хорошо, хорошо, поступай как знаешь.

Ибо никто не мог заподозрить Лу в снобизме, а ее здравый смысл был известен всем.

Широкий круг знакомств объяснялся их активным участием в приходских делах. Оба они входили в различные церковные гильдии и братства. Рэймонд помогал во время службы и устраивал еженедельные футбольные лотереи, прибыль от которых шла в фонд украшения храма. Лу чувствовала себя не у дел, когда Союз Матерей собирался на свои специальные мессы: то была единственная организация, куда Лу никоим образом не могла вступить. Но до замужества она работала медсестрой, а потому состояла в гильдии Сестер Милосердия.

Таким образом, в большинстве своем их приятели-католики были людьми разных профессий.

Те же, с которыми Рэймонд был связан по службе, занимали другое общественное положение — и Лу понимала это лучше, чем Рэймонд. Обычно он предоставлял ей решать, кого и с кем приглашать.

Автозавод принял на работу человек двенадцать с Ямайки; двое оказались под началом у Рэймонда. Как-то вечером он пригласил их домой на чашку кофе. То были молодые холостяки, очень вежливые и очень черные. Молчаливого звали Генри Пирсом, а разговорчивого — Оксфордом Сен-Джоном. Лу удивила и обрадовала Рэймонда, заявив, что их непременно нужно перезнакомить со всеми друзьями, сверху донизу. Рэймонд знал, конечно, что она во всем руководствуется никак не снобизмом, а только здравым смыслом, но как-то побаивался, что она сочтет противным этому самому смыслу знакомить новых черных друзей со старыми белыми.

— Я рад, что тебе понравились Генри с Оксфордом, — сказал он. — И рад, что мы сможем представить их всем нашим знакомым.

За один только месяц чернокожая пара девять раз побывала в «Криппс-Хаузе». Их знакомили с бухгалтерами и учителями, упаковщиками и сортировщиками. Лишь Тина Фаррелл, билетерша

из кинотеатра, не смогла до конца прочувствовать все значение происходящего.

— А эти черномазенькие, оказывается, вполне приличные ребята, как узнаешь их поближе.

— Это ты о наших друзьях с Ямайки? — спросила Лу. — А почему, собственно, им не быть приличными? Они такие же, как все.

— Конечно, я так и хотела сказать, — согласилась Тина.

— Все мы равны, — заявила Лу. — Не забудь, среди чернокожих встречаются даже епископы.

— Господи Иисусе, у меня и в мыслях не было, что мы ровня епископу, — вконец растерялась Тина.

— Ну так не называй их черномазенькими.

Иногда летом, по воскресеньям, ближе к вечеру, Паркеры брали своих друзей на автомобильные прогулки. Ездили они в один и тот же придорожный ресторанчик на берегу реки. В первый раз появившись там с Генри и Оксфордом, они чувствовали, что бросают вызов общественному мнению, однако никто не имел ничего против и никаких неприятностей не воспоследовало. Скоро чернокожая пара вообще всем примелькалась. Оксфорд Сен-Джон завел интрижку с хорошенькой рыженькой счетоводшей, а Генри Пирс,

оказавшись в одиночестве, стал часто бывать у Паркеров. Лу с Рэймондом собирались провести две недели летнего отпуска в Лондоне.

«Бедняжка Генри, — говорила Лу, — без нас ему будет скучно».

Однако, когда Генри ввели в общество, он оказался не таким тихоней, каким выглядел поначалу. Ему было двадцать четыре года, и он хотел знать все на свете. Яркий блеск глаз, зубов и кожи еще больше подчеркивал его энтузиазм. В Лу он будил материнский инстинкт, а у Рэймонда вызывал родственные чувства. Лу нравилось слушать, как он читает любимые стихи, которые он переписывал в ученическую тетрадку:

Нимфа, нимфа, к нам скорей!
Шуткой, шалостью развей,
Юной прелестью…

Лу прерывала:

— Нужно говорить «шуткой», «шалостью», а не «суткой», «салостью».

— Шуткой, — послушно выговаривал он и продолжал: — «Смех, схватившись за бока…» *Смех*, понимаете, Лу? — *смех*. Для этого господь бог и создал человека. А которые люди слоняются с кислым видом, так они, Лу…

Лу обожала такие беседы. Рэймонд благосклонно попыхивал трубкой. После ухода гостя Рэймонд обычно вздыхал: такой смышленый парнишка — и надо же, сбился с пути! Генри воспитывался в школе при католической миссии, но потом отступился от веры. Он любил повторять:

— Суеверия наших дней еще вчера были наукой.

— Я не согласен, — возражал Рэймонд, — что католическая вера — суеверие. Никак не согласен.

Присутствовал Генри при этом или нет, Лу неизменно замечала:

— Он еще вернется в лоно церкви.

Если разговор шел в его присутствии, он награждал Лу сердитым взглядом. И только в эти минуты жизнерадостность покидала Генри и он снова делался молчаливым.

Рэймонд и Лу молились о том, чтобы Генри обрел утраченную веру. Лу три раза в неделю читала розарий[17] перед Черной Мадонной.

— Когда мы уедем в отпуск, ему без нас будет скучно.

---

[17] Примечания: 17

Читать розарий — читать наизусть определенное число раз и в определенной последовательности католические молитвы, сверяясь с розарием — шнуром, на который особым образом нанизаны бусы (четки), символизирующие молитвы.

Рэймонд позвонил в лондонскую гостиницу, где у них был заказан номер.

— У вас найдется комната для молодого джентльмена, который сопровождает мистера и миссис Паркер? — и добавил: — Цветного джентльмена.

Рэймонд обрадовался, услышав, что комната найдется, и вздохнул с облегчением, когда понял, что цвет кожи никого не интересует.

Отпуск прошел гладко, если не считать малоприятного визита к вдовой сестре Лу, той самой, которой выделялся один фунт в неделю на воспитание восьмерых детей; Элизабет и Лу не виделись девять лет.

Они навестили ее незадолго до конца отпуска. Генри сидел на заднем сиденье рядом с большим чемоданом, набитым разным старьем для Элизабет. Рэймонд вел машину, приговаривая время от времени:

— Бедняжка Элизабет — восемь душ! — что действовало Лу на нервы, но она и вида не подавала.

Когда они остановились у станции метрополитена «Виктория-Парк», чтобы спросить дорогу, Лу вдруг запаниковала. Элизабет жила в унылой дыре под названием Бетнел-Грин, и за те девять

лет, что они не виделись, жалкая квартирка на первом этаже с облупившимися стенами и голым дощатым полом начала представляться Лу в более розовом свете. Посылая сестре еженедельные переводы, она мало-помалу научилась думать о Бетнел-Грин как чуть ли не о монастырской келье. Воображение рисовало ей нечто скудно обставленное, но выскобленное и отмытое до безукоризненного блеска, нечто в озарении святой бедности. Полы сияли. Элизабет — седая, в морщинах, но опрятная. Благовоспитанные дети, послушно усевшись друг против друга за стол, — почти такой же, как в монастырских трапезных, — приступают к супу. И, лишь добравшись до «Виктория-Парк», Лу вдруг осознала во всей его убедительности тот факт, что на самом деле все будет совсем иначе. «С тех пор как я последний раз была у нее, там многое могло измениться к худшему», — призналась она Рэймонду, который никогда не бывал у Элизабет.

— Где «там»?

— В доме у бедняжки Элизабет.

Ежемесячные письма от Элизабет Лу пробегала, не вдаваясь в подробности, — однообразные коротенькие послания, довольно безграмотные, ибо Элизабет, по ее собственным словам, «акаде-

миев не кончала»:

> «Джеймс на другой работе уж думаю конец теперь той беде у миня кровяное давление и был доктор очень милый. То же из помощи кажный день. Обед присылали и для моих маленьких они это прозвали Самоходная еда на четыре Колеса. Я молюсь Всевышнему что Джеймс из беды выпутался он мине ничего не говорит в шестнадцать они все такие рта не раскроют но Бог он правду видит. Спасибо за перевод Бог тибя не забудит твоя вечно сестра Элизабет».

Лу попыталась собрать воедино все, что можно было узнать из таких писем за девять лет. Джеймс, старшенький, видно, попал в какую-то неприятную историю.

— Надо было выяснить у Элизабет про этого мальчика, Джеймса, — сказала Лу. — В прошлом году она писала, что он попал в «беду», вроде бы его должны были куда-то отправить. Но тогда я не обратила на это внимания, не до того было.

— Не можешь же ты все взвалить на свои плечи, — ответил Рэймонд. — Ты и так достаточно помогаешь Элизабет.

Они остановились у дома Элизабет — она жила на первом этаже. Лу поглядела на облупившуюся краску, на грязные окна и рваные, давно не стиранные занавески, и перед ней с поразительной живостью встало ее беспросветное детство в Ливерпуле. Спасти Лу тогда могло только чудо; на чудо она и уповала, и надежды сбылись: монашенки подыскали ей место. Она выучилась на медсестру. Ее окружали белоснежные койки, сияющие белизной стены, кафель; к ее услугам всегда были горячая вода и ароматические соли в неограниченном количестве. Выйдя замуж, она хотела обставить квартиру белой крашеной мебелью, чтобы с нее легко было смывать микробов. Но Рэймонд высказался за дуб: он не понимал всех прелестей гигиены и нового эмалевого лака. Воспитанный в благонравии, он на всю жизнь приобрел вкус к стандартным гарнитурам и гостиным, выдержанным в осенних тонах. И сейчас, разглядывая жилище Элизабет, Лу чувствовала, как ее отшвырнуло назад, в прошлое.

Когда они возвращались в гостиницу, Лу тараторила, радуясь, что все уже позади:

— Бедняжка Элизабет, не очень-то ей повезло. Мне понравилась крошка Фрэнсис, а тебе, Рэй?

Рэймонд не любил, чтобы его называли Рэем,

однако протестовать не стал, памятуя, что Лу вся на нервах. Элизабет оказала им не слишком любезный прием. Она похвалила темно-синий ансамбль Лу — сумочку, перчатки, шляпку и туфельки, — но похвалы ее звучали обвинением. Квартира была вонючей и грязной.

— Сейчас я вам все покажу, — сказала Элизабет издевательски изысканным голосом, и пришлось им протискиваться темным узким коридорчиком вслед за тощей фигурой, чтобы попасть в большую комнату, где спали дети.

Старые железные койки стояли в ряд, покрытые мятыми темными лоскутными одеялами, — и никаких простынь. Рэймонд пришел в негодование; оставалось надеяться, что Лу не станет из-за всего этого расстраиваться. Рэймонд прекрасно знал, что различные общественные организации дают Элизабет достаточно средств на жизнь, что она просто-напросто распустёха, из тех, кто сам себе помочь не желает.

— Элизабет, а ты никогда не думала устроиться на работу? — спросил он и тут же пожалел о собственной глупости.

Элизабет не преминула воспользоваться случаем.

— Ты что сказал? Ни в какие такие ясли я моих

детей не отдам и ни в какой приют определять их не буду. По нынешним временам детишкам свой родной дом нужен, и у моих он есть, — и добавила: — Бог, он все видит, — таким тоном, что Рэймонду стало ясно: до него бог еще доберется за то, что ему, Рэймонду, повезло в жизни.

Рэймонд роздал малышам по монетке в полкроны, а для ребят постарше — они играли на улице — оставил монеты на столе.

— Как, уже уходите? — спросила Элизабет укоризненным тоном.

Сама, однако, не переставала с жадным любопытством разглядывать Генри, так что укоризна в ее голосе была скорее данью привычке.

— Ты из Штатов? — поинтересовалась она.

Генри, сидевший на самом краешке липкого стула, ответил: нет, с Ямайки, и Рэймонд подмигнул ему, чтобы подбодрить.

— В войну много тут вашего брата понаехало, из Штатов, — сказала Элизабет, посмотрев на него краешком глаза.

Генри поманил семилетнюю девочку, предпоследнего ребенка в семье:

— Иди сюда, скажи что-нибудь.

Вместо ответа девчушка запустила руку в коробку со сладостями, которую принесла Лу.

— Ну, скажи что-нибудь, — повторил Генри.

Элизабет рассмеялась:

— Она тебе такое скажет, что не обрадуешься. У кого, у кого, а у ней язык здорово подвешен. Послушал бы, как она учительниц отбривает.

От смеха у Элизабет заходили кости под мешковатым платьем. В углу стояла колченогая двуспальная кровать, рядом захламленный столик, а на нем кружки, консервные банки, гребень, щетка, бигуди, фотография Иисусова Сердца в рамке. Еще Рэймонд обратил внимание на пакетик, который ошибочно принял за пачку презервативов. Он решил ничего не говорить Лу: она наверняка заметила кое-что другое, и, может, еще похуже.

На обратном пути Лу болтала, едва не переходя на истерику.

— Рэймонд, дружок, — чирикала она своим самым великосветским голоском, — я просто *не могла* не оставить бедняжке всех наших хозяйственных денег на неделю вперед. Придется нам, голубчик, немного поголодать дома. *Другого* выхода у нас нет.

— Хорошо, — согласился Рэймонд.

— Но скажи мне, — взвизгнула Лу, — могла ли я поступить иначе? *Могла ли?*

— Не могла, — ответил Рэймонд. — Ты правильно сделала.

— Моя *родная* сестра, дружок, — продолжала Лу. — Ты заметил, во что у нее волосы превратились от перекиси? Светлые и темные пряди вперемешку, а ведь какая хорошенькая была головка!

— Хотелось бы мне знать, сама-то она хоть что-то пыталась сделать? — заметил Рэймонд. — С ее-то семьей ничего не стоило добиться новой квартиры, если б только она…

— Такие никогда не переезжают, — вставил Генри, наклонившись с заднего сиденья. — Это называется трущобной психологией. Взять хотя бы народ у нас на Ямайке…

— Никакого сравнения! — вдруг взвилась Лу. — Тут совсем другой случай!

Рэймонд удивленно на нее поглядел, а Генри откинулся на сиденье, оскорбленный.

Откуда у *этого-то* взялась наглость, с ненавистью подумала Лу, строить из себя сноба. Элизабет как-никак белая женщина.

Их молитвы о ниспослании благодати Генри Пирсу не остались без ответа. Сперва Генри обрел туберкулез, а следом — и утраченную веру. Его направили в один валлийский санаторий, и Лу с

Рэймондом пообещали навестить его под рождество. Тем временем они молили Пресвятую деву об исцелении Генри от недуга.

Оксфорд Сен-Джон, чья интрижка с рыжей счетоводшей кончилась ничем, теперь стал у Паркеров частым гостем. Но до конца заменить собой Генри он так и не смог. Оксфорд был старше и не такой утонченный. Приходя к ним, он любил разглядывать себя в кухонном зеркале, приговаривая: «Ах ты большой черномазый ублюдок!» Он все время называл себя черномазым, каковым, по мнению Лу, он и был, но к чему вечно тростить об этом? Он останавливался на пороге, раскрывал объятия и ухмылялся во весь рот. «Да, черен я, но и красив, о дщери иерусалимские». А как-то раз, когда Рэймонда не было дома, он подвел разговор к тому, что у него *все тело* черное. Лу пришла в замешательство, стала поглядывать на часы и спустила в вязанье несколько петель.

Когда она трижды в неделю читала розарий перед Черной Мадонной и молилась о здравии Генри, она заодно просила и о том, чтобы Оксфорда Сен-Джона перевели на работу в другой город. Ей не хотелось делиться с Рэймондом своими чувствами; и на что, собственно говоря, ей было жаловаться? На то, что Оксфорд такой

простой и обычный? Это не годилось: Рэймонд презирал снобизм, да и она тоже, так что ситуация была весьма деликатной. Каково же было ее удивление, когда через три недели Оксфорд объявил о своем намерении подыскать работу в Манчестере.

— Знаешь, а в этих слухах про деревянную статую что-то есть, — сказала она Рэймонду.

— Возможно, — сказал Рэймонд. — А то бы не было слухов.

Лу не могла рассказать ему, как молилась она об устранении Оксфорда. Но когда Генри Пирс написал ей, что идет на поправку, она сказала Рэймонду: «Вот видишь, мы просили возвратить Генри веру, и теперь он верующий. А сейчас просим, чтобы он исцелился, и ему уже лучше».

— Врачи там хорошие, — сказал Рэймонд, но все же добавил: — Мы, конечно, будем молиться и дальше.

Сам он, хотя розария и не читал, каждую субботу после вечерней мессы преклонял колени перед Черной Мадонной помолиться за Генри Пирса.

Оксфорд при каждой встрече только и говорил, что об отъезде из Уитни-Клея. Рэймонд сказал:

— Переезд в Манчестер — большая ошибка с его стороны. В огромном городе бывает так одиноко.

Но, может, он еще передумает.

— Нет, — сказала Лу, настолько уверовала она в силу Черной Мадонны. Она была по горло сыта Оксфордом Сен-Джоном, который задирал ноги на ее диванные подушечки и звал себя ниггером.

— Скучно без него будет, — вздохнул Рэймонд, — все-таки он веселый парень.

— Скучно, — сказала Лу. Она как раз читала приходский журнал, что случалось с ней редко, хотя вместе с другими активистками она сама вызвалась рассылать его по подписчикам и каждый месяц надписывала на бандеролях не одну сотню адресов. В предыдущих номерах, помнилось Лу, было что-то такое насчет Черной Мадонны, как та исполняла разные просьбы. Лу слышала, что паства из окрестных приходов часто ходила молиться в церковь Иисусова Сердца только из-за статуи. Говорили, что люди приезжают к ней со всей Англии, но молиться или полюбоваться на произведение искусства — этого Лу не знала. Со всем вниманием взялась она за статью в приходском журнале:

> «Отнюдь не претендуя на чрезмерное… молитвы были услышаны, и многим верующим в ответ на их просьбы чудес-

нейшим образом даровано… два удивительных случая исцеления, хотя, разумеется, следует подождать медицинского заключения, поскольку окончательное выздоровление может быть подтверждено лишь по истечении известного срока. В первом случае это был двенадцатилетний ребенок, страдавший лейкемией… Во втором… Отнюдь не желая создать cultus[18] там, где не место культам, мы тем не менее обязаны помнить, что наш вечный долг — почитать Богоматерь, источник благодати, коей обязаны мы…

Отец настоятель получил и другие сведения, касающиеся нашей Черной Мадонны и имеющие прямое отношение к бездетным супружеским парам. Стали известны три подобных случая. Во всех трех муж и жена утверждали, что постоянно молились Черной Мадонне, а в двух случаях из трех обращались к ней с конкретной просьбой: даровать им ребенка. Во *всех* трех случаях молитвы возымели действие. Гордые родители…

[18] Примечания: 18
Культ (*лат.*).

Каждый прихожанин должен счесть желаннейшим своим долгом вознести особое благодарение… Отец настоятель будет признателен за новые сообщения…»

— Рэймонд, — сказала Лу, — прочти-ка это.

Они решили ходатайствовать перед Черной Мадонной о младенце.

Когда на другое воскресенье они поехали к мессе, Лу бряцала розарием. У церкви Рэймонд остановил машину.

— Послушай, Лу, — сказал он, — ты в самом деле хочешь ребенка? — Ему подчас казалось, что Лу всего лишь собирается устроить Черной Мадонне проверку. — Хочешь после всех этих лет?

Эта мысль не приходила Лу в голову. Она подумала о своей опрятной квартирке и размеренной жизни, о гостях и своем парадном кофейном сервизе, о еженедельниках и библиотечных книгах, о вкусе к изящному, который они едва ли смогли бы культивировать, будь у них дети. Еще она подумала о своей красивой моложавой внешности, которой все завидовали, и о том, что ее ничто не связывает.

— Попробовать стоит, особой беды не будет, —

решила она. — Господь не пошлет ребенка, если нам на роду написано оставаться бездетными.

— Кое-что мы должны решать для себя сами, — ответил он. — И, по правде сказать, если *ты* не хочешь ребенка, *мне-то* он и подавно не нужен.

— Помолиться все равно не помешает, — повторила она.

— Лучше сперва решить, а потом уж молиться, — заметил он. — Не стоит искушать провидение.

Она вспомнила, что вся их родня, и ее и Рэймонда, давно обзавелась детьми. Подумала о сестре Элизабет с ее восемью ребятишками, вспомнила ту девчушку, которая «учительниц отбривает», — хорошенькую, насупленную и оборванную; представила крошку Фрэнсис, как та мусолит соску, обхватив Элизабет за худую шею. И сказала:

— Не вижу, почему бы мне и не завести ребенка.

Оксфорд Сен-Джон отбыл в конце месяца. Он обещал писать, но их не удивляло, что проходят недели, а он все молчит. «Вряд ли он вообще нам напишет», — сказала Лу. Рэймонду почудилось, что она даже этим довольна, и он было подумал, уж не превращается ли она в сноба, как это

бывает с женщинами в ее возрасте, когда они понемногу теряют свои идеалы, но тут она заговорила о Генри Пирсе. Генри писал, что он уже почти выздоровел, но врачи посоветовали ему вернуться в Вест-Индию.

— Надо бы его навестить, — сказала Лу. — Мы ведь обещали. Через две недели, в воскресенье, а?

— Хорошо, — сказал Рэймонд.

В субботу накануне поездки Лу в первый раз почувствовала недомогание. Она с трудом поднялась, чтобы поспеть к утренней мессе, но во время службы ей пришлось выйти. Ее стошнило за церковью, прямо во дворике. Рэймонд отвез ее домой, не слушая никаких возражений и не дав почитать розария перед Черной Мадонной.

— Всего через шесть недель! — повторяла она, едва ли понимая, почему ей так плохо: от возбуждения или по естественному ходу вещей. — Всего шесть недель назад, — и голос ее зазвучал на старый ливерпульский манер, — были мы у Черной Мадонны, и на тебе — молитвы наши уже услышаны, видишь?

Глядя на нее с благоговейным ужасом, Рэймонд поднес тазик.

— А ты уверена? — спросил он.

Наутро она почувствовала себя лучше и решила, что они смогут поехать в санаторий навестить Генри. Он раздобрел и, на ее взгляд, стал немного грубее. В его манере себя держать появилось нечто решительное, словно, едва не расставшись с бренной своей оболочкой, он твердо настроился не допускать такого впредь. До его отъезда на родину оставалось совсем немного. Он пообещал зайти попрощаться с ними. Следующее письмо от Генри Лу только что глазами пробежала, прежде чем отдать Рэймонду.

Теперь в гости к ним приходили заурядные белые.

— Генри с Оксфордом были куда колоритнее, — сказал Рэймонд и смутился, испугавшись, как бы не подумали, будто он шутит над цветом их кожи.

— Скучаете по вашим черномазеньким? — спросила Тина Фаррелл, и Лу забыла сделать ей замечание.

Лу забросила бóльшую часть своих приходских обязанностей, чтобы шить и вязать на младенца. Рэймонд забросил «Ридерс дайджест». Он подал прошение о повышении, и его сделали начальником отдела. Квартира превратилась в зал ожидания: к лету, через год после рождения ма-

ленького, они надеялись скопить на собственный домик. В пригороде велось жилстроительство; на один из этих новых домов они и рассчитывали.

— Нам будет нужен садик, — объясняла Лу друзьям.

«Я вступлю в Союз Матерей», — думала она про себя.

Тем временем свободную спальню превратили в детскую. Рэймонд сам смастерил кроватку, хоть кое-кто из соседей и жаловался на стук молотка. Лу позаботилась о колыбельке, украсила ее оборочками. Она написала письма родственникам; написала и Элизабет, послала ей пять фунтов и предупредила, что еженедельные переводы на этом кончаются, так как у них у самих теперь каждый пенс на счету.

— Да она все равно в этих деньгах не нуждается, — сказал Рэймонд. — О таких, как Элизабет, заботится государство. — И он поведал Лу о пачке презервативов, которую, как ему показалось, он заметил на столике рядом с двуспальной кроватью.

Лу разволновалась.

— Откуда ты взял, что это презервативы? Как выглядела пачка? И почему ты молчал до сих пор? Какая наглость, а еще называет себя като-

личкой, как ты думаешь, у нее есть любовник?

Рэймонд не был рад, что сказал.

— Не волнуйся, лапонька, не надо так расстраиваться.

— Она говорила, что каждое воскресенье ходит к мессе, и все дети тоже, кроме Джеймса. Не мудрено, что мальчик попал в историю, — с таким-то примером перед глазами! И как я сразу не догадалась, а то зачем бы ей волосы красить перекисью! И все это время я посылала ей по фунту в неделю, в год, значит, пятьдесят два фунта! Никогда бы я этого не стала делать, и еще называет себя католичкой, а у самой противозачаточные средства под рукой.

— Лапонька, не надо расстраиваться.

Трижды в неделю Лу молилась перед Черной Мадонной о благополучных родах и здоровье младенца. Она обо всем рассказала отцу настоятелю, и тот сообщил об этом в очередном номере приходского журнала: «Стал известен еще один случай благосклонной помощи нашей Черной Мадонны бездетной супружеской паре…» Лу читала розарий перед статуей, пока ей не стало трудно опускаться на колени, а живот не вырос так, что она уже не видела собственных ног. И когда Лу стояла перед изваянием, перебирая на

животе четки, богоматерь в своих черных деревянных одеждах с высокими черными скулами и квадратными руками казалась ей самой непорочностью.

Рэймонду она сказала:

— Если родится девочка, одно из имен пусть будет Мария. Не первое, конечно, слишком оно заурядное.

— Как хочешь, лапонька, — ответил Рэймонд. Доктор предупредил его, что роды могут оказаться тяжелыми.

— А если мальчик, назовем его Томасом в честь дядюшки. Но если будет девочка, то первое имя давай подыщем пошикарнее.

Он решил, что Лу просто оговорилась: этого словечка — «шикарный» — он от нее раньше не слышал.

— Как насчет Доун?[19] — спросила она. — Мне нравится, как оно звучит. А вторым именем — Мария. Доун Мария Паркер, очень красиво.

— Доун! Это же не христианское имя, — возразил он. Но потом добавил: — Впрочем, лапонька, как тебе хочется.

— Или Томас Паркер, — сказала она.

---

[19] Примечания: 19
Доун (*англ.* Dawn) — Заря, Зорька.

Она решила лечь в общую палату родильного дома, как все прочие. Но когда пришло время рожать, она дала Рэймонду себя переубедить. «Тебе, лапонька, это может оказаться труднее, чем молодым, — не переставал твердить он. — Лучше снимем отдельную палату, не обеднеем».

Роды, однако, прошли очень гладко. Родилась девочка. Уже вечером Рэймонду позволили навестить Лу. Она лежала совсем сонная.

— Нянечка отведет тебя в детскую и покажет девочку, — сказала она. — Малышка очень миленькая, но жутко красная.

— Все младенцы рождаются красными, — сказал Рэймонд.

Он встретил нянечку в коридоре.

— Я могу взглянуть на ребенка? Жена говорила…

Нянечка засуетилась:

— Сейчас я вызову сестру.

— Нет, нет, я не хотел бы никого беспокоить, только жена говорила…

— Все в порядке, мистер Паркер. Подождите здесь.

Появилась сестра, степенная высокая дама. Рэймонду показалось, что она близорука, потому что она долго и внимательно его разглядывала,

прежде чем повести в детскую.

Девочка была пухленькая и очень красненькая, с курчавыми черными волосиками.

— Странно, что у нее волосы. Я думал, они рождаются лысенькими, — сказал Рэймонд.

— Рождаются и с волосами, — успокоила сестра.

— Что-то она уж больно красная. — Рэймонд сравнил своего младенца с другими в соседних кроватках. — Много красней, чем другие.

— Ну, это пройдет.

Наутро он застал Лу в полубессознательном состоянии. У нее была истерика, она визжала, и ей пришлось дать большую дозу успокаивающего. Он сидел у постели, ничего не понимая. Потом в дверях показалась нянечка и поманила его в коридор.

— Вы можете поговорить со старшей сестрой?

— Ваша жена переживает из-за младенца, — объяснила ему та. — Понимаете, все дело в цвете кожи. Прекрасная, великолепная девочка, но цвет…

— Я заметил, что она краснее обычного, — сказал Рэймонд, — но нянечка говорила…

— Краснота пройдет. Цвет кожи у новорожденных меняется. Но ребенок, несомненно, будет

коричневым, если не совершенно черным, а как нам кажется, именно черным. Красивый, здоровый ребенок.

— Черным? — сказал Рэймонд.

— Нам так кажется, и, должна вам сказать, так оно наверняка и будет. Мы не могли предполагать, что ваша жена столь болезненно воспримет это известие. У нас тут рождалось достаточно чернокожих младенцев, но для матерей это, как правило, не было неожиданностью.

— Тут, должно быть, какая-то путаница. Вы, должно быть, перепутали младенцев, — сказал Рэймонд.

— О путанице не может быть и речи, — резко сказала сестра. — Такие вещи тут же выясняются. В нашей практике *бывали* случаи, когда отцы не хотели признавать собственных детей.

— Но мы же оба белые, — сказал Рэймонд. — Посмотрите на жену, на меня посмотрите…

— Это уж разбирайтесь сами. На вашем месте я бы поговорила с доктором. Но что бы вы ни решили, я прошу вас не волновать жену в ее теперешнем состоянии. Она уже отказалась кормить девочку грудью, утверждая, что это не ее ребенок. Смешно.

— Это Оксфорд Сен-Джон?

— Рэймонд, доктор предупреждал тебя, что мне нельзя волноваться. Я ужасно себя чувствую.

— Это Оксфорд Сен-Джон?

— Пошел вон, мерзавец, и как у тебя язык повернулся сказать такое!

Он потребовал, чтобы ему показали девочку, — всю неделю он каждый день ходил на нее смотреть. Пренебрегая воплями белых малышей, нянечки собирались у ее кроватки полюбоваться на свою хорошенькую «чернушку». Она и в самом деле была совсем черненькая, с плотными курчавыми волосиками и крошечными негроидными ноздрями. Этим утром ее окрестили, хотя родители при сем не присутствовали. Крестной матерью была одна из нянечек.

Завидев Рэймонда, нянечки разлетелись в разные стороны. Он с ненавистью посмотрел на младенца. Девочка глядела на него черными глазами-пуговками. На шейке у нее он заметил табличку «Доун Мария Паркер».

В коридоре ему удалось поймать какую-то нянечку:

— Послушайте, снимите у ребенка с шеи фамилию Паркер. У нее не Паркер фамилия, это не мой ребенок.

Нянечка ответила:

— Не мешайте, я занята.

— Не исключена *возможность*, — сказал Рэймонду доктор, — что если когда-то у вас или у вашей жены была в семье хоть капелька негритянской крови, то сейчас она дала о себе знать. Возможность, конечно, маловероятная. В моей практике я с этим не сталкивался, но слышать слышал. Если хотите, я могу порыться в справочниках.

— У меня в семье ничего подобного не было, — ответил Рэймонд. Он подумал о Лу и ее сомнительных ливерпульских предках. Родители у нее умерли еще до того, как они познакомились.

— Это могло произойти несколько поколений назад, — заметил доктор.

Рэймонд вернулся домой, стараясь не столкнуться с соседями, которые начали бы его останавливать и расспрашивать о Лу. Он уже жалел, что разбил кроватку в первом приступе бешенства: дал-таки волю низменным инстинктам. Но стоило ему вспомнить крохотные черные пальчики с розовыми ноготками, как он переставал жалеть о кроватке.

Ему удалось разыскать Оксфорда Сен-Джона. Однако еще до того, как были получены результаты анализа крови, он сказал Лу:

— Напиши своим и спроси, не было ли у вас в семье негритянской крови.

— Спроси у *своих*! — отрезала Лу.

Она не желала даже видеть черного младенца. Нянечки кудахтали над ребенком с утра до вечера и бегали к Лу с сообщениями о нем:

— Возьмите себя в руки, миссис Паркер, у вас растет прелестная крошка.

— Вам следует заботиться о собственном чаде, — сказал священник.

— Вы не представляете, как я страдаю, — сказала Лу.

— Во имя Господа Бога нашего, — сказал священник, — если вы дочь католической церкви, вы обязаны принять страдания.

— Не могу я себя насиловать, — сказала Лу. — Нельзя же требовать от меня…

Через неделю Рэймонд как-то сказал ей:

— Врачи говорят, что с анализом крови все в порядке.

— Как это в порядке?

— У девочки и Оксфорда разные группы крови, и…

— Заткнись, надоело, — сказала Лу. — Младенец черный, и никакими анализами белой ее не сделаешь.

— Не сделаешь, — согласился он. Выясняя, нет ли у него в семье негритянских кровей, он напрочь рассорился с матерью. — Врачи говорят, — продолжал Рэймонд, — что в портовых городах иногда бывает такое смешение рас. Это могло произойти несколько поколений назад.

— Я одно знаю, — сказала Лу. — Брать этого ребенка домой я не собираюсь.

— И не хочется, да придется, — сказал он.

Рэймонд перехватил письмо от Элизабет, адресованное Лу:

> «Дорогая Лу Рэймонд спрашиваит были у нас в семействе чернокожие подумать только что у тибя цветная родилася Бог он все видит. Был у Флиннов двоюродный братец в Ливерпуле звали Томми темный такой про его говорили что он от негра с корабля так это было давным давно до нашей покойной Матушки упокой Господь ее душу она бы в гробу перевернулась и зря ты перестала мине помогать что тибе фунт в неделю. Это у нас от батюшки черная кровь а Мэри Флинн ты ее знала она работала на маслобойке была черная и помниш у нее волоса были как

у негра так это верно с давнего времени тогда негр был у их предок и все натурально вышло. Я благодарю Всевышнего что моих детишек эта напасть стороной обошла а твой благоверный видно негра виноватит которово ты мине в нос сувала когда вы у миня были. Я желаю вам всего хорошего и как вдова при детях прошу посылайте деньги как обнакновенно твоя вечно сестра Элизабет».

— Насколько я мог понять из ее письма, — сказал Рэймонд, — в вашей семье *была-таки* примесь цветной крови. Ты, конечно, могла и не знать, но я считаю, записи об этом должны где-то быть.

— *Заткнись*, прошу тебя, — ответила Лу. — Младенец черный, и белой ее не сделаешь.

За два дня до выписки у Лу был гость, хотя, кроме Рэймонда, она приказала никого к себе не пускать. Этот ляпсус она отнесла за счет пакостного любопытства больничных нянечек, ибо не кто иной, как Генри Пирс, зашел к ней попрощаться перед отъездом. Он не просидел у нее и пяти минут.

— Что-то ваш гость недолго побыл, миссис Пар-

кер, — сказала нянечка.

— Да, я его мигом спровадила. Я, кажется, довольно ясно распорядилась, что никого не желаю видеть. Почему вы его пустили?

— Простите, миссис Паркер, но молодой человек так расстроился, когда узнал, что к вам нельзя. Он сказал, что уезжает за границу, и это его последний шанс, и вообще он, может, никогда уже с вами не встретится. Он спросил: «А как младенец?», мы сказали: «Процветает».

— Вижу, куда вы клоните, — сказала Лу, — только это неправда. Я проверила группу крови.

— Ну что вы, миссис Паркер, у меня и в мыслях не было ничего подобного…

— Ясное дело, путалась с одним из тех негров, что к ним ходили.

Лу боялась, что именно об этом велись разговоры на лестничных площадках и у дверей в «Криппс-Хаузе», когда она поднималась к себе наверх, и что соседи, завидев ее, понижали голос.

— Не могу я к ней привыкнуть. Не нравится она мне, хоть убей.

— Мне тоже, — отозвался Рэймонд. — Но, заметь, будь это не мой, а чужой ребенок, по мне, все было бы в порядке. Просто противно, что она моя, а люди думают, что нет.

— В этом все дело, — подытожила Лу.

Сослуживец Рэймонда спросил его утром, как поживают его друзья Оксфорд и Генри. Рэймонд долго колебался, прежде чем решил, что вопрос без подвоха. Но как знать, как знать… Лу и Рэймонд уже связались с обществом Детских приютов и теперь ждали только благоприятного ответа.

— Будь у меня такая малышка, я бы в жизни с ней не рассталась, — сказала Тина Фаррелл. — Денег нету, а то бы мы ее удочерили. Самая миленькая черномазенькая девчушка в мире.

— Ты бы этого не сказала, — возразила Лу, — если б и вправду была ее матерью. Сама подумай: в один прекрасный день просыпаешься и узнаешь, что родила чернокожую, причем все считают, что от негра.

— *Обалдеть* можно, — хихикнула Тина.

— Мы проверили группу крови, — поспешила добавить Лу.

Рэймонд добился перевода в Лондон. Вскоре пришел ответ и из Детских приютов.

— Мы правильно поступили, — заявила Лу. — Даже священник и тот не стал спорить, приняв во внимание, что нам решительно не хотелось держать ребенка в семье.

— А, так он сказал, что мы хорошо сделали?

— Он не говорил, что *хорошо*. Вообще-то он сказал, что хорошо было бы оставить девочку у себя. Но поскольку об этом не могло быть и речи, мы поступили *правильно*. Очевидно, в этом вся разница.

Видели бы вы, что там творится

Теперь-то я знаю, что мне крупно повезло пять лет назад, когда я срезалась на экзаменах в специальную школу, но сперва я дико переживала. По английскому у меня всегда была жутко высокая успеваемость, зато по другим предметам я жуть как плавала!

Мне повезло, что я пошла в обычную среднюю школу, ее ведь построили всего за год до этого. И само собой, по гигиеничности ее даже не сравнишь со специальной. У нас школа была светлая, воздух свежий, стены выкрашены ярко, с глянцем, и мыть их можно запросто. А в специальную меня послали раз снести записку одному учителю, и видели бы вы, что там творится! В коридорах пылища, подоконники, сразу видать, тоже пыльные, да еще ободранные. Заглянула я в какой-то класс. А там колоссальный беспорядок.

И обратно же, мне еще как повезло, что я не пошла учиться в специальную школу, известно ведь, какие там прививают наклонности. Со стороны, может, это получается чудной разговор. Образование-то за плечами иметь — стоящее дело, и невежественной быть неохота, но зато я

бываю в обществе и знаю образованных людей.

Мне ведь уже семнадцать, с прошлого месяца третий год пошел, как я школу кончила. Получила аттестат, где сказано, что я квалифицированная машинистка, и сразу пошла работать в адвокатскую контору младшей секретаршей. Мама себя не помнила от радости, а папа сказал, что для начала это просто блеск, фирма старая, с солидной репутацией. Но, говоря по правде, когда я пришла наниматься, тамошние окна меня удивили, да и лестница оказалась жуть до чего грязная. В приемной повернуться негде, газовый камин уже на части разваливается и ковер на полу потертый. Но потом меня позвали в кабинет мистера Хейгейта, там обстановка была поприличней. Мебель не новая, зато полированная, и ковер, ничего не скажешь, вполне подходящий. Стекла в книжном шкафу чистые, без пятнышка.

На работу мне велели выйти с понедельника, ну я и пошла, как уговорились. Отвели меня в контору, а там сидели две старшие машинистки-стенографистки и клерк — мистер Грешем, одетый прямо отвратно. Видели бы вы, что там творится! Ковра нет и в помине, пол голый, кругом сплошная пыль. По стенам, куда ни повернись, полки, а на них старые ящики с картотекой.

Ящики ломаные-переломаные, и карточки тоже старье, все до единой покоробились. Но это еще что, в настоящее отчаяние я пришла, когда увидела чайные чашки. Моей обязанностью было разносить чай утром и в конце дня. Мисс Бьюлей показала мне, где что лежит. У них там все лежало в старом ящике из-под апельсинов, и хоть бы одна чашка была без трещины. Не хватало на всех блюдец и прочего. А насчет туалета я уж молчу, только гигиеничным его тоже не назовешь. Через три дня я все рассказала маме, и она страшно расстроилась, в особенности из-за треснутых чашек. Мы у себя дома треснутую чашку никогда не держим, а с ходу выбрасываем, потому что в трещинах свободно могут гнездиться микробы. Само собой, мама дала мне на работу собственную чашку.

А в конце недели, когда платили получку, мистер Хейгейт говорит: «Ну-с, Лорна, как ты намерена истратить свой первый заработок?» Мне это не понравилось, и я чуть было его на место не поставила, но сказала только: «Не знаю». А он говорит: «Что ты делаешь по вечерам, Лорна? Телик глядишь?» Тут уж я по-серьезному обиделась, потому что мы всегда говорим «телевизор», а он вообразил, что я какая-то дурочка необразо-

ванная Я стою перед ним и молчу, а он на меня удивляется. Назавтра, в субботу, я рассказала маме с папой про туалет, и мы решили, что не стоит мне больше с этой работой связываться. Вдобавок ко всему там, в конторе, и столы расшатанные. Папа был вне себя, потому что у мистера Хейгейта фирма преуспевающая и у самого ученая степень.

А от нашей квартирки все в восторге, у мамы нигде ни пятнышка, а папа всегда что-нибудь мастерит. Он своими руками всюду навел порядок и добился от городского совета разрешения переоборудовать кухню в модерновом стиле. Как сейчас помню, приходит к нам санитарный инспектор и говорит маме: «У вас, миссис Меррифилд, на полу кушать можно». И вправду, у мамы полы такие, что хоть завтрак на них подавай, в любое время дня и ночи каждый уголок прибран до блеска.

Потом трудовое агентство послало меня в одно издательство, учитывая мою успеваемость по английскому. Но там одного взгляда было с меня довольно! Зато после этого мне предложили подходящее место, и теперь я служу в «Химической компании Лоу». Мы помещаемся в современном доме, работаем с перерывами по четверть часа

утром и днем. Мистер Марвуд одет очень прилично. И выражается культурно, хотя у него нет за плечами университетского образования. На столе у каждого отдельная лампа, и пишущие машинки новенькие, последних марок.

В общем, у Лоу я всем довольна. Но за последний год я заимела знакомства еще с другими людьми, из образованных, и у меня сразу открылись глаза. Вышло так, что мне довелось зайти к нашему доктору на дом за рецептом для моего младшего братишки Тревора, когда была эпидемия. На мой звонок отворила миссис Дарби. Сама она маленькая, волосы светлые, но слишком уж длинные, а по свободному зеленому платью видно, что у нее будет ребенок. Приняла она меня очень приветливо. Мне пришлось обождать немного в столовой, и видели бы вы, какой там был беспорядок! По ковру раскиданы сломанные игрушки, в пепельницах целые горы окурков. На стенах, правда, модерновые картины, но мебель никакая не модерновая, а старомодная, да еще в чехлах, которые разлезутся после первой же стирки, это уж точно. А говоря коротко, доктор Дарби и миссис Дарби всегда были мне рады и хотели все как лучше. Доктор Дарби тоже мал ростом, и волосы светлые, а детей у них трое: девочка, мальчик и

еще мальчик, новорожденный.

В тот день, когда я пришла за рецептом, доктор Дарби мне сказал:

— Лорна, ты что-то бледна. Это все лондонский воздух. Прокатись-ка с нами в субботу за город на машине.

И в дальнейшем я ездила с Дарби все чаще. Сами они мне понравились, но не понравилось то, что у них творится, и я была дико удивлена. А еще я ходила к ним, чтобы заиметь разные знакомства, и мама с папой радовались, что у меня хорошие друзья. Поэтому я ничего не сказала про рваный линолеум и облезлую краску на стенах. И дети одеты неприлично для докторской семьи, они как придут из школы, докторша сразу велит им переодеваться и ходить в каких-то обносках. Наша мама, когда мы шли играть на улицу, всегда одевала нас опрятно, без единого пятнышка, а у Дарби, мне про это даже говорить неудобно, дети часто были одеты не лучше, чем в семье Лири, которую городской совет выселил из нашего дома за недостойный образ жизни.

Как-то раз при мне Мэвис (так я уже звала тогда миссис Дарби) высунулась из окошка и кричит сыну:

— Джон, не смей писать на капустной грядке.

Сейчас же ступай на лужайку.

Я просто не знала, куда глаза девать. Наша мама никогда таких слов в окошко кричать не станет, и я убедилась решительно, что Тревор делает лужу только дома, а больше нигде, даже в море, когда купается.

У Дарби я бывала все больше по субботам, но иногда заходила и на неделе, после ужина. Они забрали себе в голову сосватать меня за помощника аптекаря, в котором тоже принимали участие. Он был сирота, и я не вижу в этом ничего дурного. Только вкусы у него не такие тонкие, как у меня. Собой он был красивый, скажу по правде. Что ж, сходили мы с ним раз на танцы и еще два раза в кино. Так с виду он вроде чистый, следит за собой. Но у них в доме горячую воду пускали только по выходным, и он мне сказал, что достаточно принимать ванну раз в неделю. Джим (так я уже звала тогда доктора Дарби) тоже сказал, что этого достаточно, и я дико удивилась. Деньги у Джима водились редко, и я его в том не виню. Но мне спешить было некуда, я свободно могла повременить до тех пор, когда встречу человека, лучше обеспеченного, так чтобы мне не пришлось отказываться от своих привычек. Что ж, он после этого стал гулять с буфетчицей из

кафе и к Дарби почти не ходил.

На работе у нас мальчиков хватает, но у Дарби, скажу честно, друзей полным-полно, всегда новые люди, и разговоры бывают интересные, хотя иногда я только удивляюсь на них и не знаю, куда глаза девать. А то вдруг созовут в дом каких-то нищих, вовсе уж неизвестно зачем. Но в большинстве гости бывали не такие, даже сравнить нельзя с нашими мальчиками, у которых совсем не такой культурный разговор.

Я знала, что уже скоро у Мэвис будет маленький, и решила прийти к ним глядеть за детьми в субботу, когда у прислуги выходной. Мэвис никуда ехать и не думала, а хотела разрешиться от бремени дома, на их двуспальной кровати, потому что отдельных кроватей у них не было, хоть он и доктор. А в нашем доме одна девушка собиралась замуж, но жених ее бросил, так она и то поехала в родильный дом. Мне было ясно, что спальня совершенно не гигиенична для приема новорожденного, но я оставила это при себе.

Когда младенец уже родился, они взяли меня однажды за город, к матери Джима. Младенца положили в колясочке на заднем сиденье. Он стал плакать, и тут Джим, поверьте моему слову, говорит ему через плечо:

— Заткни глотку, ублюдок.

Я сквозь землю готова была провалиться, а Мэвис спокойненько покуривала сигарету. У нашего папы язык бы не повернулся сказать такое Тревору или мне. А когда мы приехали к матери Джима, он говорит:

— Этот дом, Лорна, построен в четырнадцатом веке.

И я запросто ему поверила. Дом был такой ветхий и старый, что просто странно, как это Джим, который ко всем так добр, позволяет своей матери жить в покосившейся конуре. Мэвис постучала, и старушка отворила дверь. Внутри этот дом тоже никакими силами не поправишь. А Мэвис говорит:

— Не правда ли, Лорна, здесь очаровательно?

Может, она просто пошутила, но уж это слишком, такое мое мнение. И я спросила у старой миссис Дарби:

— Скоро вас переселять будут?

Только она меня даже не поняла, и я растолковала ей, что следует обратиться в городской совет и постоянно там хлопотать. Но надо же, сам городской совет ничего до сих пор не сделал, хотя оттуда приходят и признают, что это никуда не годится. А старая миссис Дарби говорит:

— Дорогуша, я вскорости переселюсь в такое место, которое называется могила.

И я не знала, куда глаза девать.

На одной стенке висел ковер, для того, я думаю, чтоб прикрыть пятно от сырости. Телевизор у нее хороший, скажу по правде. Но стены там голые, кирпичные, и теплого туалета нет, надо идти через весь сад. И мебель совсем не новая.

Как-то в субботу прихожу я к Дарби, а они собрались в кино и меня тоже пригласили. Мы поехали в «Керзон», а оттуда заглянули к одним людям на Керзон-стрит. В доме у них чистота, скажу честно, и ковры в подъезде хорошие. У супругов была модерновая мебель, и еще они разговаривали о музыке. В общем, там очень мило, только при доме нет бюро добрых услуг и людям негде духовно общаться, получать советы и помощь. Но разговор был на уровне, и я познакомилась с Билли Морли, который оказался художником. Билли подсел ко мне, и мы с ним выпили. Он молодой, с темными волосами и в темной рубашке, так что нельзя даже понять, чистый он или нет. А вскоре после этого Джим мне говорит:

— Лорна, Билли хочет написать твой портрет. Но лучше тебе спросить разрешения у мамы.

Мама ответила, что не имеет ничего против,

раз он друг семьи Дарби.

Скажу по-честному, такой негигиеничной квартиры, как у этого Билли, я еще не видывала. Он уверял, что у меня редкий тип красоты, который непременно надо уловить. Было это, когда мы приехали к нему из ресторана. Сидели мы почти что в темноте, но все равно я видела, что постель не застлана и простыни на ней совсем серые. Он все говорил, что хочет написать мой портрет, но я сказала Мэвис, что все равно больше к нему не пойду.

— Разве Билли тебе не нравится? — спросила она.

Я, конечно, не могла отрицать, что он вроде мне нравится. Что-то в нем есть, скажу по правде. А Мэвис говорит:

— Надеюсь, Лорна, он тебя не домогался?

Я ответила, что ничего подобного, да так оно почти и было, раз он не пытался пойти до конца. Как ни заглянешь к Билли, у него всегда ужас до чего негигиенично, и однажды я ему про это сказала, а он говорит:

— Лорна, ты прелесть.

Он был обходительный, катал меня на своей машине, и машина у него хорошая, только внутри грязно, совсем как в квартире. Джим как-то

говорит:

— У него, Лорна, денег куры не клюют.

А Мэвис говорит:

— Ты, Лорна, должна сделать его человеком, ведь он от тебя без ума.

Они всегда повторяли, что Билли из хорошей семьи.

Но я уж видела, что с ним ничего не поделаешь.

Он редко когда менял рубашку или покупал новый костюм, сам ходил как последний нищий, а другим давал деньги взаймы, я своими глазами видела. Дома у него ужас что творилось, в углу куча пустых бутылок и нестиранного белья. За время нашего знакомства Билли, случалось, делал мне подарки, и я брала, все равно он их раздал бы задаром, но пойти до конца он так и не пытался. Мой портрет он тоже не написал, а всю дорогу писал стол с фруктами, и кругом говорили, что его картины восхитительны, и в душе прочили меня за Билли.

Раз вечером пришла я домой, как обычно, в расстройстве от обстановки, в какой живет Билли. Мама с папой уже легли спать, и я заглянула на кухню, отделанную красивыми плитками, желто-розоватыми с белым. Потом пошла в сто-

ловую, где папа одну стену оклеил узорными обоями, ярко-розовыми с белым, а остальные стены бледно-розовыми с белыми бордюрами, гарнитурчик — новехонький, и мама повсюду навела красоту. Тут до меня вдруг дошло, какая я была дура, когда связалась с Билли. Я всегда за равноправие, но насчет того, чтоб выйти за Билли, я Мэвис прямо сказала, что как вспомню его квартиру и хороший ковер, весь перепачканный, не говорю уж про краски, вытекшие из тюбиков, так подумаю, что я просто не пережила бы, если б так себя уронила.

Близнецы

Когда мы с Дженни учились в одном классе, она была из тех примерных, умненьких девочек, каких все любили, да и теперь, наверное, любят в шотландских школах. В Англии, мне кажется, такой любовью окружены мальчики и девочки, которые одарены иными, не столь примитивными достоинствами, а сверх того, особо отличаются в играх. Но у нас были свои понятия, и, хотя Дженни вовсе не умела играть в хоккей, эта добрая, спокойная, смышленая девочка всем нравилась. Вдобавок она была миловидна, такая пухленькая, темноволосая, свежая, опрятно одетая.

Замуж она вышла за некоего Саймона Ривза, родом из Лондона. По временам мы с ней переписывались. Жила она в Эссексе, изредка наезжала в Лондон, и раз-другой нам удалось свидеться. Я обещала ей приехать погостить, но минул не один год, прежде чем мне представилась возможность исполнить обещание, и у нее уже росли пятилетние близнецы, Марджи и Джефф.

Ребятишки эти поражали своей красотой; у них были темноволосые, как у Дженни, грациозно посаженные головки. Дженни оставалась верна

здравомыслию, отличавшему ее с детства. Она отнюдь не обольщалась их красотой, которая исторгала у всех неумеренные восторги. «Только бы и дальше вели себя прилично», — говорила Дженни; и мне вспомнилось, какой прелестной девочкой она была, как равнодушно относилась к своей внешности и сколько участия проявляла к другим. Я обнаружила, что всех окружающих Дженни мысленно наделяет таким же спокойствием души, кротостью и невозмутимым нравом, какие присущи ей самой. Рядом с Дженни я сама обретала успокоение и чувствовала к ней искреннюю признательность. В этом муж ее был очень на нее похож; но вместе с тем Саймон гораздо более верил в себя. Как и Дженни, он обладал живым, деятельным нравом; но если Дженни с самыми неотложными делами справлялась без суеты, то Саймон, казалось, всякую минуту был занят по горло. Они прекрасно подходили друг к другу. Если он обнаруживает такую неподдельную отзывчивость к людям, значит за шесть лет супружеской жизни, думалось мне, он под влиянием Дженни стал не чужд ее мягкости и самоотвержения. Видя, что старик сосед задремал в шезлонге, Саймон тотчас останавливал механическую косилку, хотя лужайка перед его

домом была запущена и работа не могла ждать. Дженни, в свою очередь, научилась у Саймона разговаривать с людьми без робости. В восемнадцать лет это было ей недоступно. Благодаря Саймону перед Дженни раскрылось многообразие человеческих характеров, поскольку круг его друзей являл собою прелюбопытную смесь личностей разного звания и культурного уровня. И в известном смысле он органически сочетал в себе несхожие черты тех людей, которые бывали у него в доме; казалось, он олицетворял их всех и в то же время оставался самим собой. Так Дженни, руководимая Саймоном, приобрела жизненный опыт, не подвергаясь, по сути дела, превратностям жизни. Счастливая чета. И конечно же, для полноты счастья у них были близнецы.

Я приехала в субботу под вечер с намерением погостить неделю. Прелестные близнецы легли спать в шесть часов, и в воскресенье я их тоже почти не видела, потому что муж с женой, жившие по соседству, решили устроить пикник и увезли их на весь день вместе со своими детьми. В понедельник мы с Дженни никак не могли наговориться о прошлом и настоящем, а малыши Марджи и Джефф тем временем играли в саду. Они резвились, поднимали шум, словом,

вели себя, как и полагается здоровым детям. При этом они были прекрасно развиты для своих лет: Дженни уже выучила обоих читать и писать. В сентябре она собиралась отдать их в школу. Они безупречно выговаривали самые трудные слова, и меня забавляло, когда в их чистой английской речи проскальзывали вдруг шотландские выражения, перенятые у Дженни.

Как обычно, ровно в шесть они легли спать; вскоре после этого вернулся домой Саймон, и мы пообедали тихо, буднично, в свое удовольствие.

Лишь во вторник утром мне удалось познакомиться с близнецами поближе. Дженни уехала на машине за покупками, а мы с ними целый час играли в саду. И вновь я поразилась, до чего они прелестны и умны, особенно девочка. Она была из тех детей, от которых ничего нельзя утаить. Зато мальчик свободней владел речью; запас слов у него был на редкость обширный.

Дженни вернулась, и после чая я ушла к себе в комнату писать письма. Я слышала, как Дженни сказала детям:

— Ступайте играть подальше в сад и помните, шуметь нельзя.

Сама она занялась хозяйством на кухне. Немного погодя кто-то позвонил с черного хода. Дженни

пошла отворять, а дети тем временем вбежали из сада в дом.

— Хлеб будете брать? — послышался мужской голос.

— Да, разумеется, — ответила Дженни. — Сию минуту, я только принесу кошелек.

Не отрываясь от письма, я краем уха слышала звяканье мелочи и подумала, что это Дженни расплачивается с разносчиком.

Вдруг ко мне прибежала Марджи.

— А, это ты, — сказала я.

Марджи молчала.

— Это ты, Марджи, — повторила я. — Пришла меня проведать?

— Слушайте, — шепнула малышка Марджи, оглядываясь через плечо. — Слушайте, чего я вам скажу.

— Ну, говори, — отозвалась я.

Она снова оглянулась через плечо, видимо опасаясь, как бы мать не вошла в комнату.

— Вы не можете дать мне полкроны? — шепотом сказала Марджи, протягивая руку.

— А зачем тебе? — спросила я.

— Надо, — ответила Марджи и опять тайком оглянулась.

— Ну, а мама не будет против? — сказала я.

— Дайте полкроны, — повторила Марджи.

— Нет, пожалуй, не дам, — сказала я. — Знаешь что, лучше я тебе куплю…

Но Марджи выбежала за дверь и была уже на кухне.

— Она, пожалуй, не даст, — донесся оттуда ее голос.

Тотчас вошла Дженни, явно расстроенная.

— Ах, — сказала она, — надеюсь, ты не обиделась. Просто мне нужно было расплатиться с булочником, а мелочи не хватило, вот я и послала Марджи попросить у тебя взаймы до вечера полкроны. Напрасно я это сделала. Я никогда не беру взаймы, это не в моих правилах.

— Ну конечно! — сказала я. — Конечно же, я дам тебе полкроны. У меня сколько угодно мелочи. Вышло недоразумение. Я не поняла: мне показалось, что она просит для себя, а этим ты была бы недовольна.

Дженни смотрела на меня с сомнением. А я сочла за лучшее не рассказывать о поступке Марджи во всех подробностях. Ведь не так-то просто уличать пятилетнего ребенка.

— Ах, они никогда не клянчат денег, — сказала Дженни. — Я им не позволяю ни у кого клянчить. Что угодно, только не это.

— Охотно верю, — согласилась я без особой убежденности.

Дженни великодушно подтвердила, что с самого начала так меня и поняла. По доброте своей она не могла допустить, чтобы из-за этой истории я испытывала малейшую неловкость у нее в гостях. Саймон вернулся домой рано, в самом начале седьмого. Он купил близнецам два очень красивых волчка. Если их раскрутить, они мелодично вызванивали песенку.

— Ты совсем избалуешь детей, — сказала ему Дженни.

Весь вечер Саймон забавлялся волчками.

— Ты их сломаешь, прежде чем они попадут детям в руки, — сказала Дженни.

Саймон спрятал волчки. Но вскоре к нему заглянул приятель-летчик с соседнего аэродрома, и волчки снова пошли в ход; двое взрослых мужчин не могли оторваться от игрушек, поминутно заглядывали внутрь и рассуждали об их устройстве; мы с Дженни отпускали по этому поводу колкости.

Утром Марджи и Джефф не могли нарадоваться подаркам, но к середине дня волчки им надоели, и они затеяли оживленную возню. А после обеда Саймон извлек из кармана два небольших

приспособления. Эти штуки вставляются в портсигары с музыкальным механизмом, объяснил он, так что, по всей вероятности, они подойдут к волчкам, и детям можно будет разнообразить мелодии.

— Когда им наскучит «Заинька, серенький», — сказал Саймон, — можно поставить «Стук-стук в окошко».

Он взял волчок и принялся его разбирать, чтобы сменить мелодию. Но когда он снова все собрал, из игрушки нельзя было извлечь ни звука. Дженни попыталась помочь мужу, но и ей не удалось заставить волчок сыграть «Стук-стук в окошко». Саймон вновь терпеливо разобрал его и спрятал свои приспособления, сказав, что они могут еще пригодиться.

— Это Джеффов волчок, — заметила Дженни с присущей ей скрупулезностью, поглядев на разбросанные по ковру части. — Джеффу ты подарил красный, а Марджи — синий.

Саймон опять стал собирать игрушку, прилаживая все как было, а мы с Дженни ушли готовить чай.

— Могу поручиться, что теперь и вовсе ничего не выйдет, — сказала Дженни со смешком.

Когда мы вернулись, Саймон что-то читал, а

волчок исчез.

— Ну как, сделал? — спросила Дженни.

— Да, — ответил он рассеянно. — И положил на место.

С утра шел дождь, так что близнецам пришлось сидеть дома.

— Может быть, займетесь волчками? — предложила Дженни. — Вчера вечером папа разобрал один волчок, — рассказала она им, — а потом собрал заново.

В характере у Дженни было нечто стоическое, и она не считала нужным оберегать детей от вероятного огорчения.

— Папа хотел, чтобы волчок играл новые песенки, — добавила она. — Только это не удалось… Но папа еще раз попробует.

Дети беспечно выслушали ее и в ближайшие часы почти не показывались мне на глаза, а потом дождь перестал, я вышла в сад и увидела, как мальчик запускал свой ярко-красный волчок на цементном полу гаража. А около полудня, когда Дженни пекла пирог, маленький Джефф опрометью вбежал на кухню. Он безутешно рыдал, личико его исказилось от горя. Обеими ручонками он сжимал разрозненные части волчка.

— Мой волчок! — надрывался он. — Мой вол-

чок!

— Господи, — сказала Дженни. — Что ты с ним сделал? Ну, успокойся, не плачь, мой маленький, мой ненаглядный.

— Я нашел вот это, — объяснил он. — Нашел одни кусочки под ящиком за папиной машиной. Мой волчок! — Он заливался слезами. — Папа поломал мой волчок.

Вошла Марджи и невозмутимо глядела на эту сцену, прижимая свой синий волчок к груди.

— Но ты же играл им сегодня утром! — сказала я. — Твой ведь был красный, правда? Ты же запускал его.

— Я синий запускал, — ответил он сквозь слезы. — А потом нашел свой, весь изломанный. Это папа его изломал.

Дженни стала кормить детей, и Джефф мгновенно успокоился.

Случай этот нисколько не опечалил Дженни, но позже она сказала мне:

— А все-таки Саймон напрасно скрыл от меня, что не сумел наладить игрушку. Ну что поделаешь, если все мужчины одинаковы? Они ужасно самолюбивы, эти мужчины.

Как я говорила уже, совсем не просто уличать пятилетнего ребенка. А тем более перед его ма-

терью.

Дженни предусмотрительно положила разрозненные части обратно в ящик за гаражом. И через семь лет, покрытые ржавчиной, они лежали там в неприкосновенности, среди прочего ржавого хлама, я это сама видела. А в тот день Дженни купила близнецам новые скакалки и, уложив детей спать, убрала второй волчок из шкафчика с игрушками.

— А то бедняжка Джефф опять будет плакать, — сказала она мне. — Забудем лучше об этих волчках. И Саймону незачем знать, что его секрет для меня уже не секрет, — добавила она со смешком.

Вероятно, больше в доме о волчках не вспоминали. А если бы и вспомнили, Дженни, без сомнения, нашла бы способ замять неприятный разговор. Нежная, любящая чета; они вызывали к себе невольное расположение; только вот о детях их этого не скажешь.

В скором времени я на несколько лет уехала за границу, и поначалу мы с Дженни переписывались от случая к случаю, но переписывались мы все реже и наконец перестали вовсе. Приблизительно через год после возвращения в Лондон я встретила Дженни на Бейкер-стрит. Мысли ее

были поглощены детьми, им уже минуло двенадцать, оба выдержали конкурсные испытания и с осени поступали в закрытые школы.

— Приезжай повидать их до конца каникул, — сказала она. — Мы с Саймоном часто тебя вспоминаем.

Я рада была вновь услышать приветливый голос Дженни.

В августе я приехала к ним на несколько дней. С годами, думалось мне, близнецы наверняка оставили свои нелепые причуды, и я оказалась права. Вместе с Дженни они встретили меня на станции. Теперь они заметно образумились, присмирели; оба были по-прежнему необыкновенно красивы. Для своих лет эти ребятишки отличались редкой невозмутимостью. Прекрасно воспитанные, подобно самой Дженни в их возрасте, они отнюдь не были застенчивы, как она.

Когда мы добрались до дома, Саймон подрезал ветки в саду.

— А вы все такая же, — приветствовал он меня. — Разве только слегка похудели. Рад видеть вас в добром здравии.

Дженни пошла накрывать стол к чаю. Здесь она была в своей стихии и даже как будто не переменилась ничуть; привычки ее тоже ни-

сколько не переменились за те семь лет, что я не приезжала сюда.

Близнецы стали болтать между собой о школьных делах, а Саймон тщетно пытался выудить из меня сведения о численности населения иностранных городов, где я побывала. Как только Дженни вернулась, Саймон вскочил и пошел умываться.

— Право, Саймон напрасно это сказал, — заметила Дженни после его ухода. — По-моему, он вполне мог бы воздержаться, но ты же знаешь, как бестактны мужчины.

— А что он такого сказал? — удивилась я.

— Что ты исхудала и вид у тебя больной, — ответила Дженни.

— Помилуй, я поняла его совсем не так! — возразила я.

— В самом деле? — отозвалась Дженни с многозначительной улыбкой. — С твоей стороны это очень великодушно.

— Скажите пожалуйста, исхудала, иссохла! — сказала Дженни и принялась разливать чай, а близнецы помалкивали, раскладывая бутерброды.

В тот вечер я допоздна разговаривала с супругами. У Дженни было заведено готовить чай к

девяти часам, и мы вместе пошли на кухню. Не прерывая разговора, она старательно уложила в зеленую коробочку несколько бисквитов.

— Ну вот, вода вскипела, — сказала Дженни и понесла коробочку к двери. — Ты ведь знаешь, где чайник для заварки. А я отлучусь на минуту.

Она мигом вернулась, мы взяли поднос и отправились в столовую.

Разошлись мы только во втором часу ночи. Дженни устроила меня как нельзя уютнее. Она поставила на туалетный столик живые цветы, а у изголовья кровати я нашла коробочку с бисквитами, уложенными ее заботливой рукой. Взяв бисквит, я откусывала от него по кусочку, смотрела в окно на сельское небо, дышавшее покоем, и размышляла о неувядаемых добродетелях Дженни. Люди со здоровыми нервами всегда меня восхищали. Я устала от своих премудрых, неисправимо сумасбродных друзей. А Дженни среди них, решила я, остается тайной, непостижимой для меня и мне подобных.

На другой день, как только Саймон вернулся со службы, Дженни поехала за близнецами, которые ждали ее возле плавательного бассейна, неподалеку от дома.

— Хорошо, что Дженни сейчас нет, — сказал

Саймон. — Я как раз искал случая с вами поговорить. Надеюсь, вы не будете в претензии, — продолжал он, — но дело в том, что Дженни ужасно боится мышей.

— Мышей? — переспросила я.

— Да, — сказал Саймон. — А поэтому, если можно, не ешьте бисквитов у себя в комнате. Дженни не на шутку обеспокоилась, когда увидела крошки, но, разумеется, если она узнает, что я говорил с вами об этом, ей станет дурно. Сама она скорее умрет, чем скажет хоть слово. Только уж так все вышло, и я уверен, вы поймете меня правильно.

— Но Дженни сама отнесла ко мне бисквиты, — объяснила я. — Вчера вечером она положила их в коробку и пошла с ней наверх.

Лицо у Саймона было встревоженное.

— Однажды в доме уже завелись мыши, — сказал он, — и ей невыносима мысль, что они появятся наверху.

— Но Дженни сама отнесла бисквиты, — настаивала я, чувствуя, что тут дело нечисто. — Ведь она положила их в коробку у меня на глазах, — добавила я. — Надо будет спросить ее.

— Умоляю вас, — сказал Саймон. — Умоляю, не делайте этого. Она так огорчится, если узнает, что я с вами разговаривал. Умоляю вас, кушайте

бисквиты у себя сколько душе угодно, зря я все это затеял.

Разумеется, я заверила его, что не буду есть никаких бисквитов. А Саймон с понимающей улыбкой обещал побольше подкладывать мне в тарелку за обедом, чтобы я не оставалась голодной.

Придя к себе, я увидела, что коробка исчезла. Весь следующий день Дженни готовилась принять друзей, званных к вечеру на коктейли. Близнецы самоотверженно оставили свои дела, резали хлеб для бутербродов, затейливо укладывали кусочки анчоуса на крошечные поджаренные ломтики хлеба.

Дженни нужно было купить кое-что из продуктов в соседнем поселке, и я предложила ей свои услуги. Сев в машину, я обнаружила, что бензин на исходе; пришлось заправиться по дороге. Когда я вернулась, примерные детки стоя ужинали на кухне, а потом безропотно легли спать до приезда гостей.

Пришел домой Саймон, мы встретились с ним в холле. Он беспокоился, хватит ли джина; по его мнению, лучше бы купить еще. Он решил, не откладывая, съездить в винную лавку и пополнить запасы.

— Кстати, — сказал он, — чуть не забыл. Бензин в баке кончается. А я еще обещал отвезти Ролингсов домой. Совсем из головы вылетело. Заодно надо будет заправить машину.

— А я ее уже заправила, — сказала я.

Гостей собралось десять: четыре супружеские пары и две незамужние девушки. Мы с Дженни разносили закуски, а Саймон занимался напитками. Недавно он выучился сбивать особый коктейль, называемый «люпамп». Из-за этого «люпампа» ему то и дело приходилось отлучаться на кухню за сливовым соком и льдом. Саймон внушил себе, что гости в восторге от «люпампа». Из вежливости мы пили его. Выйдя с шейкером на кухню в четвертый раз, он крикнул девушке, что стояла у двери:

— Молли, вы не принесете мне графин с лимонным соком?

Молли взяла графин и вышла.

— Там прекрасные условия, — рассказывала Дженни пожилому мужчине. — Джефф занял четвертое место среди мальчиков, а Марджи — одиннадцатое среди девочек. Ей повезло, ведь таких мест было всего четырнадцать. Если б не подвела география, она прошла бы в числе первых. Мне это сказала ее учительница англий-

ского языка.

— Подумать только! — пробормотал мужчина.

— Да, — продолжала Дженни. — Молли Томас, вы ведь ее знаете. Она учит Марджи английскому. Сегодня она здесь у нас. Но где же Молли? — Дженни оглядела комнату.

— На кухне, — ответила я.

— Вероятно, готовит «люпамп», — сказала Дженни. — Что за название — «люпамп»!

Наутро Дженни и Саймон выглядели прескверно. Я объяснила это действием «люпампа». Они избегали разговоров, и, когда Саймон уехал в Лондон, я спросила у Дженни, как ее самочувствие.

— Да так себе, — ответила она. — Так себе. Дорогая, право же, я очень расстроена из-за недоразумения с бензином. Жаль, что ты не спросила денег у меня. Вот возьми, пожалуйста, и больше об этом ни слова. Саймона любой пустяк задевает.

— Задевает?

— Ну, ты же знаешь мужчин, — сказала Дженни. — Жаль, что ты не обратилась прямо ко мне. Ты знаешь, как я щепетильна, когда речь идет о долгах. И Саймон тоже. Он просто не знал, что ты уплатила за бензин, оттого и не мог понять причины твоей обиды.

В то же утро я сходила на почту и телеграммой вызвала сама себя в Лондон. Ближайший поезд уходил только в половине седьмого, но зато на него нетрудно было успеть. Когда я уже садилась в такси, а Дженни и дети, провожая меня, стояли у двери, вернулся Саймон, встал с ними рядом, и все махали мне на прощанье.

— Смотри же, приезжай поскорее, — напутствовала меня Дженни.

Я тоже помахала рукой и успела заметить, что близнецы, которые махали мне вслед, смотрят вовсе не на меня, а на родителей. Выражение, написанное в тот миг на их лицах, я видела прежде один-единственный раз. Было это в Королевской академии, когда некий знаменитый портретист застенчиво любовался на дело своих рук долгим, выразительным взглядом. Точно так же, с восторгом, гордостью и смущением, смотрели близнецы на Дженни и Саймона.

Я поблагодарила супругов вежливым письмом, но не выразила желания с ними увидеться. В ответ я получила письмо от Саймона. «Мне очень жаль, — писал он, — что у вас создалось впечатление, будто мы с Молли непристойно вели себя на кухне в тот вечер, когда были гости. Дженни ужасно огорчилась. Разумеется, она не

ставит под сомнение мою верность, но ей тяжело сознавать, что вы могли допустить подобную мысль. Дженни едва не сгорела со стыда, принужденная выслушать это в присутствии своих друзей, и, надеюсь, ради нее вы умолчите о моем письме. Дженни скорей умрет, нежели позволит себе оскорбить ваши чувства. Всегда готовый к услугам Саймон Ривз».

Темные очки

На берегу озера мы остановились, чтобы посмотреть на свои отражения в воде. И тут, когда ее лицо глянуло на меня из озера, я ее узнала. Она продолжала рассказывать без передышки.

Чтобы не выдать себя и защитить глаза от солнца, я надела темные очки.

— Я вам надоела? — спросила она.

— Нет, нисколько, доктор Грей.

— Правда?

Бестактно надевать темные очки, когда тебе изливают душу. Но без них было нельзя — я узнала ее, я разволновалась и достойным образом дослушать ее исповедь могла лишь из укрытия.

— Вы не можете без очков?

— Нет. Понимаете, солнце.

— Ношение темных очков — новый психологический феномен. Тут проявляется тенденция к обезличиванию себя — оружие современного инквизитора, который…

— Очень интересно. — Но очков я не сняла: во-первых, не я к ней набивалась в собеседницы, а во-вторых, есть предел тому, что можно выслушать, не пряча глаз.

Мы шли по новой бетонной оправе старого озера, и она продолжала свое повествование о том, как ей пришлось оставить терапию и сделаться психиатром. А я смотрела на нее сквозь темные очки, смягчающие все контрасты, и снова видела ее лицо, как в воде, а перед тем в детстве.

В конце тридцатых годов Лисден-Энд был Г-образным городом. У основания Г стоял наш дом. На другом конце был рынок. Магазин окулиста Симондса помещался на перекладине, а сам он с сестрой и матерью жил над магазином. Остальные магазины на улице стояли вплотную друг к другу, а этот — особняком, как настоящий жилой дом, с проулками по обе стороны.

Меня послали проверить зрение. Он провел меня в полутемную комнату и сказал: «Садись, деточка». И положил мне руку на плечо. И указательным пальцем стал поглаживать мне затылок. Мне было тринадцать, и грубить ему не хотелось. Тут как раз спустилась сверху его сестра Дороти; она возникла молча, в белом халате. Она прошла по комнате и зажгла тусклую лампочку, но мистер Симондс убрал руку раньше, да так живо, что ясно было — он обнял меня неспроста.

Я раз уже видела мисс Симондс — на гулянии в саду; она стояла на эстраде в синем платье и

большой шляпе и пела: «Однажды на траве меж длинных теней», а я тем временем собирала падалицу — кажется, сплошь гнилую. Теперь она повернулась в этом белом халате и враждебно посмотрела на меня, словно я заигрывала с ее братом. Я почувствовала себя дрянью и начала озираться с наивным видом.

— Вы читать умеете? — спросил мистер Симондс.

Я перестала вертеть головой. И спросила: «Что читать?» — потому что мне говорили: читать надо таблицы с буквами. А на таблице, которая висела под тусклой лампочкой, были нарисованы поезда и звери.

— Потому что, если вы не умеете, для неграмотных у нас есть картинки.

Это он пошутил. Я захихикала. Сестра улыбнулась и промокнула правый глаз платком. Правый глаз ей оперировали в Лондоне.

Помню, все буквы я прочла правильно, кроме самых нижних рядов, где они были совсем мелкие. Помню, как он сжал мне локоть, когда я уходила, и как повернулось его лицо в рыжеватых веснушках — не следит ли сестра.

Бабушка сказала:

— Ты видела…

— …сестру мистера Симондса? — сказала тетя.

— Да, она там все время была, — для ясности ответила я.

Бабушка сказала:

— Говорят, она…

— …слепнет на один глаз, — сказала тетя.

— Притом, что их мать прикована к постели… — сказала бабушка.

— …ее возьмут живой на небо, — сказала тетя.

Наконец, — через несколько дней или недель, не помню, — прибыли мои очки для чтения, и я носила их, когда не забывала надеть.

Очки я сломала через два года в каникулы, усевшись на них.

Бабушка сказала, вздохнув:

— Тебе пора проверить зрение…

— …все равно пора проверить, — вздохнув, сказала тетя.

Накануне вечером я вымыла голову и завилась. В одиннадцать часов утра я подходила к дому мистера Симондса, а в кармане моей куртки лежала бабушкина шляпная булавка. Фасад дома отремонтировали, на стеклянной двери была золотая надпись «Бэзил Симондс, окулист», а дальше цепочка букв, насколько помню — Ч. Б.

О. А.[20], Ч. К. Х. И.[21] и другие.

— Вы совсем уже молодая дама, Джоан, — сказал он, глядя на мою молодую грудь.

Я улыбнулась и сунула руку в карман куртки.

За два года он сделался меньше. Я подумала, что ему уже, наверно, пятьдесят или тридцать. Веснушек на лице стало еще больше, а глаза были мутно-голубые, как сухая акварель. В мягких шлепанцах беззвучно возникла мисс Симондс.

— Вы совсем уже молодая дама, Джоан, — сказала она, наставив на меня зеленые очки, потому что правый глаз у нее уже ослеп и левый, говорили, тоже побаливал.

Мы перешли в кабинет. Она скользнула мимо меня и зажгла тусклую лампочку над таблицей с буквами. Я начала читать, а Бэзил Симондс стоял рядом, скрестив руки. В магазин кто-то вошел. Мисс Симондс уплыла за дверь посмотреть, кто там, а ее брат пощекотал мне затылок. Я продолжала читать. Он притянул меня к себе. Я сунула руку в карман. Когда булавка вошла сквозь куртку в его бедро, он сказал «ой!» и отскочил.

В дверях неотвратимо вырос белый халат мисс

---

[20] Примечания: 20
Член Британской оптической ассоциации.

[21] Примечания: 21
Член-корреспондент химического института.

Симондс. Ее брат, потиравший уколотое место, сделал вид, что отряхивает брюки.

— Что случилось? Почему ты кричал? — спросила она.

— Нет, я не кричал.

Она взглянула на меня и ушла к покупателю в магазин, оставив дверь между нами открытой. Вернулась она почти сразу. Осмотр быстро закончился. Мистер Симондс проводил меня до двери на улицу и посмотрел на прощание с горестной мольбой. Себя я чувствовала предательницей, а он мне казался чудовищем.

До конца каникул я думала о нем как о «Бэзиле» и, задавая вопросы, внимательнее обычного прислушиваясь к разговорам окружающих, составила себе представление о его личной жизни. «Дороти… — прикидывала я, — …и Бэзил». Я думала о них, покуда перед моим мысленным взором не возникали их комнаты на втором этаже. Во время чая я вертелась около взрослых и, чтобы навести разговор на Бэзила и Дороти, рассказывала нашим гостям, как мне проверяли зрение.

— Мать который год прикована к постели, и ведь у нее огромное состояние. Да что ей проку от него?

— А мисс Симондс может быть наследницей

— с больным глазом?

— Наследство достанется ей. Он получит только то, что ему причитается по закону.

— А говорят, он получит все. Как опекун.

— Кажется, миссис Симондс все завещала дочери.

Бабушка сказала:

— Лучше бы разделила наследство…

— …поровну между ними, — сказала тетя. — Куда справедливей.

Я часто разыгрывала в уме сцены, как брат с сестрой, выйдя из комнаты матери на узкую лестничную площадку, скрещивают взгляды в безмолвной битве за наследство. Мутные глаза Бэзила ничего не выражают, но он изъясняется тем, что выбрасывает вперед голову на красной шее; Дороти отвечает винтовым движением головы вверх в сторону и сверканием единственного глаза за зеленым окуляром.

Меня отправили примерять новые очки для чтения. Я захватила булавку. Проверяя очки, я держалась с ним дружелюбно. Он, видно, хотел положить руку мне на плечо и все водил ею по воздуху, но не решался. Дороти спустилась сверху и возникла перед нами, как раз когда рука парила. Он прервал парение, поправив дужку очков

у моего уха.

— Тетя велела проверить их хорошенько, когда буду примерять, — сказала я. Это дало мне возможность оглядеть переднее помещение.

— Они же только для занятий, — сказал Бэзил.

— Нет, я иногда их и так ношу, — ответила я. Через дверь я видела маленькую контору, затененную деревом в проулке. Там стоял зеленый сейф, столик со старой пишущей машинкой, а у окна письменный стол, на котором лежал гроссбух. Другие гроссбухи стояли…

— Чепуха, — сказала Дороти, — такой здоровой девушке, как вы, очки вообще не очень нужны. Для чтения, чтобы не испортить глаз, — еще может быть. Но носить их так…

Я сказала:

— Бабушка просила узнать, как ваша мама.

— Слабеет, — ответила она.

Я взяла за обычай обворожительно улыбаться Бэзилу, когда проходила мимо по дороге в магазин. Это очень часто бывало. И тогда он стоял в дверях, дожидаясь моего возвращения, а я на обратном пути смотрела на него, как на пустое место. Мне было интересно, долго ли он будет терпеть, чтобы его обольщали и тут же, через десять минут, щелкали по носу.

Перед ужином я бродила по переулкам, прохаживалась вокруг дома Симондсов, пытаясь представить себе, что происходит внутри. Однажды в сумерки хлынул дождь, и я решила, что имею право спрятаться под деревом у подслеповатого окошка их конторы. Моя голова была выше подоконника, и я увидела фигуру, сидевшую за столом. Скоро, подумала я, фигуре придется зажечь свет.

Через пять долгих минут фигура поднялась и повернула выключатель у двери. Это был Бэзил, его волосы почему-то казались розовыми. Вернувшись к столу, он нагнулся и вынул из сейфа пачку бумаг, скрепленных большим зубастым зажимом. Я знала, что сейчас он вытащит из пачки один лист, и это будет очень важный, волнующий документ. Как будто читаешь знакомую книгу: все знаешь наперед, но не можешь пропустить ни слова. Он вытащил длинный лист бумаги и держал перед собой. На той стороне листа, которую я видела в окно, было напечатано на машинке, а последний абзац — написан от руки. Бэзил положил этот лист на стол рядом с другим. Я прильнула к стеклу, приготовившись помахать ему рукой и улыбнуться, если он меня заметит, и крикнуть, что прячусь от дождя, который глухо

шумел вокруг. Но он не сводил глаз со своих двух листов. Рядом лежали другие бумаги, я не могла разглядеть, что на них. Но я была уверена, что он упражнялся на них в письме и что он подделывает завещание.

Потом он взял ручку. Как сейчас слышу гул дождя, ощущаю его запах и капли, падающие с сука мне на макушку. Он поднял голову и посмотрел на улицу. Казалось, его взгляд устремлен на меня, на то место между окном и деревом, где я прячусь. Я замерла и прижалась к стволу, как беззащитный зверек, желая слиться с дождем, корой, листьями. Но тут сообразила, что уже темнеет и мне он виден гораздо лучше, чем я ему.

Он подвинул к себе промокашку. Потом макнул перо в чернила и начал писать внизу листа, то и дело сверяясь с бумагой, которую вынул из сейфа. Когда за его спиной медленно отворилась дверь, я похолодела, но не удивилась. Будто смотрела кино по знакомой книге. Дороти кралась к нему, а он, ничего не слыша, все выводил и выводил слова. Дождь лил, ни с чем не считаясь. Она воровато заглядывала зеленым окуляром через его плечо.

— Что ты делаешь? — сказала она.

Он подскочил и прикрыл свою работу промокашкой. Она жгла его единственным глазом

— правда, я видела не глаз, а только темно-зеленое стекло, вкось направленное на Бэзила.

— Составляю счета, — сказал он, поднимаясь и спиной заслоняя бумаги. Я увидела его руку, отведенную назад и мечущуюся между листками.

Я промокла до нитки и вся тряслась. Дороти навела свой глаз на окно. Я шмыгнула в сторону и всю дорогу до дому бежала.

На другое утро я сказала:

— Я попробовала читать в этих очках. Все расплывается. Теперь мне придется нести их назад?

— Как же ты не заметила…

— …когда примеряла их в магазине?

— А там темно. Что, придется мне их нести?

Я отнесла их к Симондсу в тот же день.

— Утром я попробовала в них читать, и все расплывается. (Правда, сперва я измазала их кольдкремом.)

Дороти появилась в мгновение ока. Она посмотрела одним глазом на очки, потом на меня.

— Запорами не страдаете? — спросила она.

Я молчала. Но чувствовала, что в своих зеленых очках она видит меня насквозь.

— Ну-ка наденьте, — сказала Дороти.

— Ну-ка примерьте, — сказал Бэзил.

Они дудели в одну дудку. Получалась какая-то

ерунда — ведь я собиралась разузнать, что между ними выйдет после истории с завещанием.

Бэзил дал мне что-то прочесть.

— Сейчас хорошо, — сказала я, — а когда утром пробовала, все расплывалось.

— Примите-ка слабительное, — сказала Дороти.

Я хотела поскорее убраться, но брат сказал:

— Раз уж вы здесь, давайте-ка для верности еще раз посмотрим.

Он выглядел нормально. Я вошла за ним в темный кабинет. Дороти включила свет. Оба выглядели нормально. Вчерашняя сцена в конторе понемногу теряла убедительность. Читая таблицу, я думала о Бэзиле уже как о «мистере Симондсе», о Дороти — как о «мисс Симондс», робела перед их авторитетом и чувствовала себя виноватой.

— Как будто бы все правильно, — сказал мистер Симондс. — Впрочем, подождите минуту. — Он достал несколько цветных диапозитивов с буквами.

Мисс Симондс злорадно сверкнула на меня глазом и с видом умывающего руки начала подниматься по лестнице. Она явно поняла, что я потеряла для брата всякую привлекательность.

Но у поворота лестницы она остановилась и снова стала спускаться. Подойдя к полкам, она принялась передвигать пузырьки. Я продолжала читать. Она перебила меня:

— Бэзил, мои глазные капли. Я их утром приготовила. Где они?

Мистер Симондс вдруг воззрился на нее так, словно творилось что-то несусветное.

— Подожди же, Дороти. Дай мне закончить с девочкой.

Она взяла коричневый пузырек.

— Я ищу глазные капли. Зачем ты все переставляешь? Мои ли это капли?

Я обратила внимание на правильную фразу «мои ли это капли?» — не в меру правильную, почудилось мне. Пожалуй, брат с сестрицей и в самом деле странные, противные типы; одним словом, дрянь.

Она подняла пузырек и уцелевшим глазом читала наклейку.

— Да, это мои. На них мое имя, — сказала она.

Темные люди, Бэзил и Дороти, дрянь, одним словом. Она ушла наверх со своими каплями. Брат взял меня за локоть и поднял со стула, забыв о своих диапозитивах.

— Глаза в порядке. Марш! — Он вытолкнул

меня в магазин. Когда он отдавал мне очки, его мутные глаза были расширены. Он показал на дверь. — Я человек занятой, — сказал он.

Наверху раздался протяжный крик. Бэзил рывком распахнул передо мной дверь, но я не тронулась с места. А Дороти все кричала наверху, кричала, кричала. Бэзил закрыл лицо руками. Дороти вышла на поворот лестницы, крича, согнувшись пополам, зажав здоровый глаз обеими руками.

Я начала кричать, когда пришла домой, и мне дали успокаивающее. К вечеру все знали, что мисс Симондс накапала в глаз не те капли.

— Теперь она совсем ослепнет? — спрашивали одни.

— Доктор сказал, надежда есть.

— Будет следствие.

— Он у нее и так бы ослеп, — говорили другие.

— Да, но боль…

— Чья ошибка, ее или его?

— Джоан была при этом. Джоан слышала ее крики. Нам пришлось дать ей успокаивающее…

— …чтобы она успокоилась.

— Но по чьей вине?

— Обычно она сама составляет капли. У нее диплом…

— …диплом фармацевта, представляете?

— Джоан говорит, на пузырьке было ее имя.

— Кто написал его на пузырьке? Вот в чем вопрос. Это определят по почерку. Если мистер Симондс, ему запретят практиковать.

— Фамилии на этикетках всегда писала она. Бедняжка, ее исключат из списка фармацевтов.

— У них отберут лицензию.

— Я сама брала у них глазные капли не далее как три недели назад. Если б я знала, что может случиться такое, ни за что бы…

— Доктор говорит, что не могут найти пузырек — пропал.

— Нет, сержант сказал определенно, что пузырек у них. Написано ее рукой. Бедняжка, видно, сама себе приготовила капли.

— Красавка, обычные капли.

— Лекарство называется атропин. Белладонна. Красавка.

— А нужно было другое лекарство, эзерин. Доктор говорит…

— Доктор Грей говорит?

— Да, доктор Грей.

— Доктор Грей говорит, что, когда переходят с эзерина на атропин…

Несчастье приписали случайности. Все наде-

ялись, что глаз мисс Симондс уцелеет. Рецепт составила она сама. Разговаривать об этом она не желала.

Я сказала:

— Пузырек могли подменить — это вам в голову не приходит?

— Книжек начиталась.

В последнюю неделю каникул умерла в своей постели миссис Симондс, завещав состояние дочери. А у меня начался тонзиллит, и я не пошла в школу.

Лечила меня доктор Грей, вдова городского врача Грея, недавно умершего. Доктора Грея я знала давно и любила, а с доктором Грей познакомилась только теперь. Она была спортивная, с резкими чертами лица. Ее считали молодой. Всю неделю она ходила ко мне ежедневно. Поразмыслив, я решила, что она ничего, в норме, хотя скучная.

В бреду я видела через окно Бэзила за столом и слышала крики Дороти. Оправившись немного, я стала выходить и каждый раз заворачивала в проулок за домом Симондсов. Склоки из-за наследства не было. Все говорили, что история с глазными каплями — ужасное недоразумение. Мисс Симондс работать перестала и, по слухам, тронулась.

Однажды в шесть часов вечера я встретила доктора Грей, выходившую от Симондсов. Она, должно быть, осматривала бедную мисс Симондс. Она заметила меня, когда я выходила из проулка.

— Не болтайся на улице, Джоан. Уже холодно.

На другой вечер я увидела в окне конторы свет. Я встала под дерево и заглянула. На столе, спиной ко мне, совсем рядом, сидела доктор Грей. Мистер Симондс сидел, откинувшись на стуле, и разговаривал с ней. На столе стояла бутылка хереса. У каждого было налито по полстакана. Доктор Грей болтала ногами; вид у нее был неприличный, одним словом, зазывный, как у нашей утренней прислуги, которая тоже сидела на столе и болтала ногами.

Но потом она заговорила.

— Тут нужно время, — сказала она. — Ведь случай очень тяжелый.

Бэзил кивнул. Доктор Грей болтала ногами и выглядела ничего. Вид у нее был приличный, деловитый, одним словом, как у нашей учительницы физкультуры, которая тоже, бывало, садилась на стол и болтала ногами.

Однажды утром, еще до того, как я начала ходить в школу, я встретила Бэзила у дверей его

магазина.

— Как теперь очки? Годятся? — спросил он.

— А-а, да, спасибо.

— Зрение у вас хорошее. Главное, фантазии своей не давайте разыгрываться.

Я пошла прочь, не сомневаясь, что он с самого начала знал о моих некрасивых подозрениях.

— …Психиатрией я занялась во время войны. До этого я была терапевтом…

Я приехала в летнюю школу читать лекции по истории, а она — по психологии. Психиатры часто бывают склонны рассказывать посторонним о своей интимной жизни. Возможно, потому, что им все время приходится выслушивать пациентов. Сидя на ее первой лекции о «психических проявлениях секса», я не узнала доктора Грей — разве что тип показался знакомым. Она говорила о зрительно-слуховых галлюцинациях детей; мне было скучно, и я развлекалась наблюдением над забавным жаргоном их цеха. Меня задело слово «пробуждающихся». «В сексуально пробуждающихся подростках, — говорила она, — нередко развивается интуиция, граничащая с психическим отклонением».

После второго завтрака, поскольку преподаватели англ. лит. отправились играть в теннис,

она пришвартовалась ко мне, и мы пошли по лужайкам, мимо рододендронов к озеру. В этом озере некогда утопилась обезумевшая от любви герцогиня.

— ...во время войны. До этого я была терапевтом. А пришла я к психиатрии, — сказала она, — странным путем. У моего второго мужа было психическое расстройство, и он находился под наблюдением психиатра. Он, конечно, неизлечим, но я решила... Странно, но пришла я к психиатрии именно так. И этим спасла свой собственный рассудок. Мой муж до сих пор в психиатрической больнице. Сестра его, конечно, оказалась безнадежной. У него еще бывают минуты просветления. Я, конечно, не понимала этого, когда вышла за него, но у него наблюдалось то, что я назвала бы теперь эдиповым переносом, и...

Какая скука! Мы подошли к озеру. Я наклонилась и сквозь темную воду посмотрела себе в глаза. Я увидела отражение доктора Грей и узнала ее. И тогда надела темные очки.

— Я вам надоела? — спросила она.

— Нет, продолжайте.

— Вы не можете без очков?.. новый психологический феномен... тенденция к обезличиванию

себя… современного инквизитора.

Мы двинулись вдоль озера; первое время она шла потупясь. Потом продолжила свой рассказ.

— …окулист. Сестра была слепой — вернее, начинала слепнуть, когда я осматривала ее в первый раз. Поражен был только один глаз. Потом произошел несчастный случай — я бы сказала, чисто психологический несчастный случай. Она неправильно приготовила себе глазные капли, хотя была дипломированным фармацевтом. Вообще говоря, очень трудно сделать такую ошибку. Но бессознательно она этого хотела — да, хотела. Она была ненормальной, она была ненормальной.

— Не спорю, — сказала я.

— Что вы сказали?

— Не сомневаюсь, что она была ненормальной, — ответила я, — если вы так говорите.

— Все это можно объяснить психологически, как мы и пытались доказать моему мужу. Мы убеждали его без конца, мы перепробовали все средства — электрошок, инсулиновый шок, словом, все. И ведь учтите, что эти капли не произвели немедленного эффекта, ослепла она, в конце концов, от острой глаукомы. Возможно, что она ослепла бы в любом случае. А тут она

окончательно помешалась и стала обвинять брата в том, что он нарочно налил в пузырек другое лекарство. И вот что самое интересное с психологической точки зрения: по ее словам, она видела его за каким-то занятием, которое он хотел от нее скрыть, за каким-то позорным занятием. И будто бы он хотел ослепить глаз, который это видел. Она утверждала…

Мы начали второй круг по берегу. На том месте, где я увидела ее отражение, я остановилась и окинула взглядом озеро.

— Я вам надоела.

— Нет, нет.

— Хорошо бы, вы сняли очки.

Я сняла на минуту. Мне даже понравилось ее простодушие, когда, пристально посмотрев на меня и не узнав, она сказала:

— Есть какое-то бессознательное побуждение, заставляющее вас носить их.

— Темные очки скрывают темные мысли, — ответила я.

— Это пословица?

— Не слышала такой. Но теперь наверно.

Она взглянула на меня новыми глазами. И снова не узнала. В вещественном мире эти ловцы душ подслеповаты. «Узнать» она старалась мою

душу — и, полагаю, уже зачислила меня в одну из категорий.

Я опять надела очки и пошла дальше.

— Как отнесся ваш муж к обвинениям сестры? — спросила я.

— Он был удивительно добр.

— Добр?

— Да, конечно, учитывая обстоятельства. Ведь от нее поползли такие сплетни. А городишко маленький. Я столько времени потратила, пока убедила его отдать сестру в дом слепых, где ей могли обеспечить надлежащий уход. Их связывали страшные узы. Подсознательный инцест.

— А вы этого не знали, когда выходили за него? Я думала, это ясно с первого взгляда.

Она опять посмотрела на меня.

— Тогда я еще не изучала психологии, — сказала она.

«Я тоже», — подумала я.

Третий круг мы сделали молча. Потом она заговорила:

— Так я начала вам рассказывать, как я занялась психиатрией. Когда сестру отправили, у мужа началось нервное расстройство. Начались галлюцинации. Ему мерещилось, что на него отовсюду смотрят глаза. Это и теперь повторяется

время от времени. Но понимаете — *глаза*. Вот что характерно. Бессознательно он чувствовал, что ослепил сестру. Потому что бессознательно к этому стремился. Он и сейчас утверждает, что ослепил.

— И пытался подделать завещание? — закончила я.

Она остановилась.

— Что вы сказали?

— Он кается, что пытался подделать завещание матери?

— Я вам не говорила о завещании.

— Да? А мне почему-то показалось.

— Да, действительно, сестра именно в этом его обвиняла. Но почему вы так сказали? Как вы догадались?

— Психическое отклонение? — предположила я.

Она взяла меня за руку. Драгоценнейший случай заболевания.

— Вы знаете, очень может быть. Вы должны рассказать о себе подробнее. Словом, вот так я и занялась этой профессией. Когда муж начал галлюцинировать и настаивать на своей вине, я решила, что должна понять механизм сознания. Я начала изучать его. И это принесло плоды. Я

спасла свой собственный рассудок.

— А вам не приходило в голову, что сестра могла говорить правду? — сказала я. — Тем более что он сам сознался.

Она чувствовала, что я слежу за ее лицом. И вид у нее был такой, словно она хотела оправдаться.

— Пожалуйста, — сказала она, — очень вас прошу, снимите очки.

— Почему вы не верите его признанию?

— Я психиатр, а мы редко верим признаниям. — Она взглянула на часы так, словно это я завела весь разговор и надоедала ей.

Я сказала:

— А может быть, ему перестали бы мерещиться глаза, если бы вы ему поверили.

Она закричала:

— Да вы что говорите? Что вы вбили себе в голову? Он хотел написать заявление в полицию — вам понятно или…

— Вы знаете, что он виновен.

— Как жена, — сказала она, — я понимаю, что он виновен. Но как психиатр я должна считать его невиновным. Поэтому я и занялась психиатрией. — Она вдруг разозлилась и крикнула: — Инквизиторша проклятая, мне ваш тип давно знаком.

Мне почти не верилось, что эта женщина, до сих пор такая спокойная, кричит.

— Впрочем, это не мое дело, — сказала я и, чтобы продемонстрировать добрую волю, сняла очки.

Тут уж, думаю, она меня узнала.

Позолоченные часы

Отель Штро стоял прямо против гостиницы Люблонич, отделенный от нее лишь узкой дорогой, которая поднималась в гору на территории Австрии и вела к югославской границе. Некогда этот старинный дом, вероятно, был желанным приютом для любителей охоты. Но теперь редкие унылые постояльцы отеля Штро даже не скрывали своего разочарования. Они сбивались в стайку, как птицы, застигнутые грозой; нахохлясь, тоскливо сутулились над замызганными столами на темной задней веранде, откуда видны были невозделанные поля герра Штро. Сам герр Штро обыкновенно сидел поодаль, захмелевший от коньяка, и его двойной подбородок свисал на красную шею, а ворот рубашки был расстегнут, чтобы не стеснял дыхания. Те постояльцы, которые не помышляли о восхождениях на вершину, а просто приехали поглазеть, сидели, любуясь видом горы из отеля, где им подавали прескверную еду, и потом уезжали автобусом, отправлявшимся раз в неделю. А у кого была своя машина, те лишь в редких случаях оставались надолго, — как правило, побудут час-другой и улизнут, будто

на смех. В гостинице Люблонич, через дорогу, тешились этим зрелищем.

Я ждала друзей, которые обещали заехать за мной по пути в Венецию. Фрау Люблонич всегда встречала гостей собственной персоной. Но я, когда приехала, едва ли оценила оказанную мне честь, потому что с виду она была как все местные женщины — ничем не примечательная, коренастая, вышла из кухни, вытирая руки коричневым фартуком, с тугим узлом волос на затылке, в грязном платье с высоко закатанными рукавами, в черных чулках и растоптанных башмаках. Лишь постепенно являла она новым постояльцам свое величие.

Здесь же обретался и герр Люблонич, но на него смотрели как на пустое место, хотя супруга не отказывала ему во внешних знаках уважения, приличествующих главе семейства. Обычно он сидел со смиренным видом в саду, неподалеку от дверей гостиницы, потчевал друзей вином, раскланивался с приезжающими и уезжающими и пользовался правом требовать с кухни все, что душе угодно. Когда он хворал, фрау Люблонич собственноручно носила ему еду наверх, в комнату, специально отведенную для него на случай болезни. Но, без сомнения, она единовластно

повелевала в доме.

Она заставляла наемную прислугу работать по четырнадцать часов в сутки, и вся работа делалась на совесть. Никто не слышал, чтобы она сердилась или кого-нибудь понукала: довольно было одного ее присутствия. Когда одна из служанок уронила поднос с пятью тарелками супа, фрау Люблонич не погнушалась взять тряпку и самолично вытереть лужу, как поступила бы на ее месте всякая деревенская старуха, которой доводилось в жизни делать кое-что и похуже. Прислуга называла ее «фрау Шеф».

— Фрау Шеф готовит мужу отдельно, когда у него плохо с желудком, — сказала мне одна из девушек.

При гостинице торговала мясная лавка, тоже собственность фрау Люблонич. Рядом была еще и бакалейная лавка, а по соседству, на особом участке, принадлежавшем, как и все остальное, Люблонич, достраивалась мануфактурная. Двое ее сыновей продавали мясо; третьему была вверена бакалея; младший же, предназначенный для мануфактуры, готовился приступить к своим обязанностям.

В саду, где цветы, разводимые для украшения столов, странным образом перемежались с ово-

щами для кухни, особняком от плодоносящих фруктовых деревьев и каштанов, под густой тенью которых гости обедали на свежем воздухе, красовалось единственное бесполезное растение — небольшая, заботливо взлелеянная пальма. Она придавала всему заведению особенное своеобразие. При ничтожной своей величине диковинное это деревце издали, с просторной задней веранды, где была столовая, словно высилось вровень с недосягаемыми вершинами гор. Оно неприметно господствовало над всей округой.

Обыкновенно я вставала в семь, но как-то раз проснулась в половине шестого утра, спустилась из своей комнаты вниз и вышла во двор поискать кого-нибудь, кто сварил бы мне чашку кофе. Спиной ко мне, в лучах восходящего солнца, стояла фрау Люблонич. Она обозревала свои гряды с овощами, свои обширные поля, свои закрома, свои свинарники, где уже работали две пожилые женщины. Один ее сын вынес из кладовой связки длинных колбас. Другой вывел на цепи вола, надев ему на голову мешок, обмотал цепь вокруг дерева и оставил вола дожидаться, пока не придут с бойни. Фрау Люблонич все стояла, объемля взором свои владения, своих свиней, своих свинарок, свои каштаны, свои бобы, свои

колбасы, своих сыновей, свои пышные гладиолусы, причем — словно у нее и на затылке были глаза — видела, как почудилось мне, свою благоденствующую гостиницу и мясную лавку, и мануфактурную, и бакалейную.

Когда она наконец повернулась во всеоружии, готовая грудью встретить трудовой день, я поймала ее взгляд, брошенный на убогий отель Штро по ту сторону дороги. Я заметила, как углы ее губ дрогнули насмешливо, словно в предвидении чего-то неизбежного: маленькие глазки блестели, явно предвкушая поживу.

Сразу можно было понять, не обращаясь даже с расспросами к местным жителям, что фрау Люблонич выбилась в люди, ничего не имея за душой, и всем обязана лишь своему уму и трудолюбию. Правда, работала она, не щадя себя. Она сама стряпала на всех. Она сама вела хозяйство и, внешне неторопливая, развивала в своей деятельности ту же головокружительную скорость, с какой проносились мимо ее гостиницы одержимые автомобилисты из Вены. Она чистила огромные котлы, без устали выскабливая их кругообразными взмахами короткой толстой руки; и само собой, она никогда не полагалась на добросовестность прислуги. Она не считала зазорным

для себя подметать полы и кормить свиней, а часто сама торговала в мясной лавке, назойливо подсовывая покупателю под нос огромные колбасы, дабы он понюхал их и убедился в высоком качестве товара. За весь день она позволяла себе присесть только один раз, когда обедала на кухне, хотя вставала чуть свет, а ложилась в час ночи.

Зачем, ради чего она так старается? Давно уже выросли ее сыновья, у нее прекрасная гостиница, прислуга, лавки, свиньи, поля, рогатый скот…

В кафе за рекой, куда я забрела под вечер, говорили так:

— Это еще что, фрау Люблонич богаче, чем вы думаете. Она скупила земли до самой горы. У нее и фермы есть. Ее, пожалуй, и река не остановит, она приберет к рукам все до ближайшего города.

— Ради чего она так надрывается? Одета как простая крестьянка, — говорили люди. — И сама кастрюли чистит.

Фрау Люблонич была здесь притчей во языцех.

Она не ходила в церковь, она была выше церкви. Я надеялась увидеть ее там, в приличном платье, на второй скамье, позади самого графа и графского семейства, рядом с аптекарем, зубным врачом и их женами; или, быть может, она предпочтет место поскромнее, среди простых

прихожан. Но фрау Люблонич сама себе была церковью и даже внешне очень походила на луковицы здешних куполов.

Я бродила у подножья горы, в то время как мастера этого дела в спортивных ботинках самоотверженно взбирались по заоблачной крутизне. А когда начинался дождь, они сообщали, вернувшись в гостиницу:

— Опять Тито насылает ненастье.

Служанкам эта острота давным-давно навязла в зубах, но они заученно изображали на лицах улыбку и подавали на стол непременную телятину.

Подняться повыше в горы я могла разве только на автобусе. Но куда соблазнительней были для меня неприступные вершины характера фрау Люблонич.

Как-то ранним утром, когда все вокруг ослепительно сверкало после бешеной ночной грозы, я спустилась вниз выпить кофе. Только что я слышала снаружи голоса, но, когда вышла, говорившие уже ушли со двора. Идя на голоса, я приблизилась к темной каменной пристройке, где была кухня, и заглянула в дверь. На кухне болтали служанки, а в глубине виднелась еще дверь, обычно наглухо закрытая. Но в то утро ее

не закрыли.

За ней была спальня, уходившая в глубь дома. Спальня поражала царственным великолепием. Она вся алела и блистала позолотой. Я увидела кровать под балдахином, высокую, застеленную роскошным оранжевым покрывалом. В изголовье, сияя белизной, вздымались подушки — кажется, их было четыре. Спинка кровати из черного дерева искрилась золотистыми блестками. Балдахин украшала золотая бахрома. Ложе это напомнило мне великолепную постель, которой Ван-Эйк украсил портрет Яна Арнольфини и его супруги. Вся прочая мебель в гостинице была дешевого полированного дерева местных пород, но эта кровать поистине могла считаться вдохновенным произведением искусства.

Пол спальни был устлан красным, или, вернее, малиновым ковром, но, оттененный оранжевым покрывалом, он казался драгоценным пурпуром. На стенах по обе стороны кровати висели турецкие ковры, создавая пышный однообразный фон, красный, почти в античном духе, сгущавшийся до черноты в тени балдахина.

Я была поражена. Служанка по имени Митци увидела, что я стою на пороге кухни.

— Вам кофе сварить? — спросила она.

— Чья это комната?

— Фрау Шеф. Она здесь спит.

Другая служанка, Герта, высокая, худощавая, с насмешливым лицом, которая все воспринимала не без юмора, шмыгнула к двери спальни и сказала:

— Эту дверь отворять не велено.

Но прежде чем закрыть дверь, она распахнула ее настежь, давая мне возможность заглянуть подальше, Я увидела печь, выложенную мозаикой, диковинной в этих местах: плитки были блестящие, желто-зеленые — вроде тех, какими выложены полы в развалинах Византии. Сама печь высилась подобно храму. А еще я увидела черную лакированную горку, инкрустированную перламутром, и, прежде чем Герта притворила дверь, заметила на горке роскошные часы, украшенные пастельными миниатюрами в розовых тонах; бронзовый футляр этих часов весь был в причудливых раззолоченных завитушках. Часы сверкали в лучах утреннего солнца, пробивавшихся сквозь занавеси.

Я перешла в столовую, села за полированный стол, и Митци подала мне кофе. За окном я увидела фрау Люблонич в простом темном платье, черных башмаках и шерстяных чулках. Она

ощипывала цыпленка, бросая перья в ведро. А поодаль, за дорогой, мрачно стоял в открытых дверях своего отеля герр Штро, толстый, небритый, с расстегнутым воротом. Казалось, он размышлял о фрау Люблонич.

В тот же самый день вышла неприятная история. Широкие окна моего номера были прямо напротив окон отеля Штро, в каких-нибудь двух десятках футов, — их разделяла узкая дорога, которая вела к границе.

День выдался прохладный. Я писала письма у себя в комнате. Случайно я бросила взгляд в окно. У окна напротив стоял герр Штро и бесцеремонно глазел на меня. Его любопытство мне не понравилось. Я опустила штору, зажгла свет и вновь принялась за письма. Интересно, подумалось мне, успела ли я совершить какое-нибудь неприличие за то время, что герр Штро подглядывал за мной, — скажем, постучала ручкой по лбу, почесала нос, ущипнула себя за подбородок или сделала еще что-нибудь в том же роде, как это случается, когда пишешь письма. Опущенная штора и искусственный свет раздражали меня, и я вдруг подумала, а с какой стати за мной подглядывает этот человек и мешает мне писать при дневном свете. Я погасила электричество и отдер-

нула штору. Герр Штро исчез. Я подумала, что он понял мое негодование, и продолжала писать.

Когда я немного погодя снова подняла голову, герр Штро сидел на стуле чуть поодаль от окна. Он, не таясь, рассматривал меня в полевой бинокль.

Я спустилась вниз, решив пожаловаться фрау Люблонич.

— Она на рынок пошла, — сказала мне Герта. — Будет через полчаса.

Тогда я выложила свои жалобы Герте.

— Я скажу фрау Шеф, — пообещала она.

Что-то в ее тоне заставило меня спросить:

— А раньше такого никогда не случалось?

— В нынешнем году уже было раз или два, — ответила она. — Я поговорю с фрау Шеф. — И добавила с обычной своей театральной гримаской: — Он, может, хотел сосчитать, сколько у вас ресничек.

Я вернулась к себе. Герр Штро сидел, как прежде, только руку с биноклем опустил на колени. Но едва я вошла, он снова поднес бинокль к глазам. Я решила тоже не сводить с него глаз до возвращения фрау Люблонич, а там уж пускай она сама разбирается.

Полчаса я терпеливо просидела у окна. Изредка

герр Штро опускал бинокль, но с места не вставал. Я видела его отчетливо; временами поднося бинокль к глазам, он как будто ухмылялся, хотя это мне скорее всего чудилось. Но он, несомненно, видел мое пылающее возмущением лицо так, будто оно было у него под самым носом. Теперь уже оба мы не могли отступить, и я краем глаза следила за дверьми отеля Штро в надежде, что вот-вот туда заявится фрау Люблонич или кто-нибудь из ее сыновей, или, быть может, одна из служанок с изъявлениями протеста. Но никто не шел к отелю Штро ни со стороны парадной двери нашей гостиницы, ни с черного хода. Я все таращила глаза, а герр Штро все сидел, уставившись на меня в бинокль.

И вдруг бинокль упал. Его словно вырвала невидимая рука. Герр Штро подошел к окну вплотную и стал смотреть, но теперь взгляд его был направлен куда-то выше и левее окон моей комнаты. Через минуту-другую он повернулся и исчез.

Тут ко мне постучалась Герта.

— Фрау Шеф изъявила неудовольствие, и вам теперь не будет беспокойства, — сказала она.

— Фрау позвонила ему по телефону?

— Нет, фрау Шеф никогда не звонит по телефону, она этого не умеет.

— Кто же тогда изъявил неудовольствие?

— Фрау Шеф.

— Но ведь она туда не ходила. Я все время смотрела в окно.

— А фрау Шеф к нему и не пойдет. Но будьте благонадежны, теперь он уж знает, что ему не дозволено докучать нашим гостям.

Когда я снова поглядела в окно, занавески у герра Штро были спущены, и больше они не поднимались до самого моего отъезда.

Меж тем я вышла бросить письма в почтовый ящик, висевший по ту сторону дороги. Солнце стояло уже высоко, и герр Штро, щурясь, смотрел из своих дверей на крышу гостиницы Люблонич. Он был так поглощен этим, что даже не заметил меня.

Я не проследила за его взглядом, опасаясь привлечь к себе внимание, но очень любопытствовала узнать, отчего глаза его прикованы к крыше. На обратном пути я увидела, что он разглядывал.

Как почти все дома в округе, гостиница Люблонич была по карнизу обнесена решеткой, чтобы зимой снег не обрушивался с крыши. Теперь там, под окном мансарды, розовели и золотились те самые часы, которые стояли в великолепной

спальне фрау Люблонич.

Когда я поворачивала за угол, герр Штро оторвал взгляд от крыши: унылый и согбенный, он скрылся за дверью. Постояльцы, которые утром приехали на двух автомобилях и остановились в его отеле, уже собрались в путь, торопливо, с нескрываемой радостью вынося свои чемоданы. Я знала, что отель почти опустел.

Перед ужином я прошлась мимо отеля Штро, а потом направилась через мост, в кафе. Там было пусто. Я села за свой прежний столик, хозяин подал забористый джин местного изготовления, и я потягивала его в ожидании посетителей. Ждать пришлось недолго, вскоре зашли две женщины и спросили мороженого, как это делали здесь многие, возвращаясь из поселка домой после работы. Неловко держа длинные ложечки в загрубелых, узловатых руках, они судачили между собой, и хозяин подсел к ним обменяться свежими новостями.

— Герр Штро нынче супротивничал фрау Люблонич, — сказала одна из женщин.

— Неужто опять осмелился?

— Он докучал ее гостям.

— Всюду он нос сует, старый шкодник.

— Ему бы только напакостничать.

— Я видела часы на крыше. Своими глазами…

— Этому Штро теперь крышка, он…

— Которые же часы?

— Да те самые, что она купила у него прошлой зимой, когда он обеднял вовсе. Красные с золотом, чисто икона. Загляденье, а не часы, достались ему еще от деда, тогда ведь дела шли хорошо, не по-нынешнему.

— Да, этому Штро теперь крышка. Она отымет у него отель. Вскорости она…

— Вскорости она с него последние штаны спустит. Возьмет отель за бесценок.

— А там застроит все участки до самого моста. Попомните мое слово. Будущей зимой она заберет отель Штро. Прошлой зимой она забрала часы. А в запрошлом году ссудила ему денег под закладную.

— Заведение Штро для нее что кость в горле, единственная помеха. Она его изничтожит.

Обе женщины и хозяин кафе близко сдвинули головы над столиком, влекомые неведомой силой к предмету разговора. Женщины машинально то погружали ложечки в мороженое, то подносили ко рту, хозяин же положил руки перед собой на стол, сцепив пальцы. Голоса их теперь звучали молитвенно.

— Она расширит свои владения до моста.

— А может статься, и за мост перешагнет.

— Нет уж, за мост не поспеет. Годы ее не те.

— Бедняга Штро!

— И почему она не расширяет свои владения с другого конца?

— Да потому, что там невелика прибыль.

— Самые доходные места здесь, на этом берегу.

— Песенка старого Штро спета.

— Она застроит все, до самого моста. Сломает отель, а там развернется вовсю.

— Перешагнет и за мост.

— Бедняга Штро. Она выставила его часы всем напоказ.

— И об чем он думает, старый ленивый боров?

— Что он хочет углядеть в свой бинокль?

— Гостей.

— Дай ему бог досыта на них наглядеться.

Они засмеялись, но вдруг вспомнили обо мне и сразу как будто очнулись от забытья.

С какой тонкостью подала фрау Люблонич свою роковую весть! Когда я вернулась, позолоченные часы еще стояли на крыше. Они служили напоминанием о том, что время течет, лето на исходе и скоро весь его отель, как и часы, будет принадлежать ей. Мимо нетвердой походкой

брел восвояси герр Штро, совсем пьяный. Меня он не заметил. Он с тоской взирал на часы, освещенные закатом, как взирали трепещущие враги господни на голову Олоферна. Я подумала, что бедняга едва ли переживет эту зиму; видно было, как изнемогает он в неравной борьбе с фрау Люблонич, теряя последние силы.

Зато она будет жить лет до девяноста, а возможно, и больше. Все давали ей года пятьдесят три, пятьдесят четыре, самое большее пятьдесят пять или пятьдесят шесть; у нее было железное здоровье.

На другой день часы исчезли. Всему свой срок. Они вернулись в роскошные апартаменты за кухней, куда фрау Люблонич удалялась поздней ночью лелеять высокие замыслы и не лежала пластом, как поверженная, а покоилась на пышных, белоснежных подушках среди своих малиновых, алых и розовых с золотом сокровищ, которые отвращали ее душу от лености, как очистительное покаяние. Здесь у нее родилась мысль посадить пальму и выстроить лавки.

На другое утро, когда я увидела, как она чистит на дворе кастрюли и ходит в своих растоптанных башмаках меж грядами, в сердце мое закрался ужас. Она могла бы облечься в пурпур и золото,

могла бы жить в особняке, увенчанном башнями, не хуже, чем у здешнего доктора. Но, то ли боясь, как бы ее не сглазили, то ли из бескорыстной преданности, которая сродни любви к чистому искусству, она предпочитает всему этому свой коричневый фартук и растоптанные башмаки. И нет сомнения в том, что она будет вознаграждена. Она завладеет отелем Штро. Она победоносно отторгнет земли до самого моста и за мостом. Ей будут принадлежать кафе, бассейн, кинотеатр. Все торговые ряды на рынке будут принадлежать ей, а потом она умрет на алой постели под балдахином с золотой бахромой, подле позолоченных часов, шкатулок с деловыми бумагами и бесполезной склянки с лекарством.

Словно чувствуя это, трое постояльцев, еще не покинувших отель Штро, пришли к фрау Люблонич узнать, найдутся ли у нее номера и какую она просит цену. Цена была вполне умеренная, и для двоих номера сразу нашлись. Третий в тот же вечер укатил на своем мотоцикле.

Всякому приятно быть на стороне победителя. Наутро я видела, как двое, перебравшиеся из отеля Штро, преспокойно завтракали под каштаном у Люблонич. Герр Штро, немного протрезвевший, стоял в дверях своего заведения и смотрел на них.

Я подумала: почему он не плюнет на нас, ведь ему все равно уже нечего терять. Мысленно я снова увидела позолоченные часы высоко в сиянии заката. И хотя я еще сердилась на этого человека за то, что он за мной подглядывал, я испытывала вместе с тем высокомерное презрение и глубокую жалость, жгучее торжество и холодный страх.

Для зимы печальные подходят сказки[22]

Жил человек у самого кладбища. Звали его Селвин Макгрегор, и был он чудесный парень, даром что не без греха по части выпивки.

— Ну и жилье у тебя, Селвин!

— Подопрись посошком на дорожку, золотко.

— Вот так, Селвин!

— Письмо-то завтра принесут. А завтра-то письмо придет.

— Ох, уж этот мне Селвин Макгрегор!

— Как первое число, так мне письмо. Как мне письмо, так первое число.

— Ну ты же и хват, Макгрегор. Ладно, налей, только поменьше.

— Да подопрись как следует, путь-то долгий!

— Нет, Мак, я пошел. Ну и жилье у тебя — там, понимаешь, кладбище, тут развалюха церковь, а кругом колючей проволоки понавертели, да кто сюда к тебе полезет!

— Короче, со свиданьицем!

— Будем здоровы, мистер Макгрегор. Распослед-

---

[22] Примечания: 22

У. Шекспир, Зимняя сказка, акт II, действие I.

ний голодранец — и тот сюда ночью не сунется. Нет, вот как угодно, а колючую проволоку я не одобряю.

— Словом, первого деньги будут.

— Селвин, мне все ж таки пора, а то смеркается.

И так оно шло тринадцать лет: Селвину было двадцать пять, а стало тридцать восемь. В двадцать пять его комиссовали из армии, а в тридцать восемь он жил да поживал в своей лачужке, в зарослях возле развалин пасторского дома. Но и до кладбища доходили письма из Эдинбурга, и первого числа каждого месяца он ходил менять чек на деньги.

— Вечер добрый, мистер Макгрегор.

— Привет, привет, сейчас обоим налью.

— Мистер Макгрегор, мы вас прямо-таки просим: вы ведь примете участие в нашем концерте?

— Это в середине-то месяца?

— Брось, Мак, ну что тебе стоит побренчать на пианино.

— В середине месяца я буду созерцать.

— Мне больше не надо — ладно, самую капельку, — хватит, хватит, мистер М.

— Со свиданьицем!

— В общем, твой номер за тобой, Селвин.

— Я же говорю: не-а.

— Мистер Селвин, вы же начисто свихнетесь от меланхолии. Хорошенькое у вас соседство!

— За обоюдную удачу!

К середине месяца у Селвина каждый раз кончались деньги. Он мучился от жажды и держал дверь на замке, явись ты к нему хоть с обедом на подносе. Ел он что ни попадя, все больше брюкву, а иной раз хлеб или обед, оставленный на приступочке. Двадцать пятого числа он снова открывал двери, подзанимал до первого, принимал гостей и выставлял бутылку.

А все десять дней с середины месяца до двадцать пятого Селвин Макгрегор молча сидел у окошка и созерцал могилы.

Тетка Селвина снимала квартиру в Уорриндерском районе Эдинбурга. Когда-то в таких квартирах обитал зажиточный люд, да и теперь там кое-кто сидит на полных сундуках, хоть виду и не подает.

— Да, район уж не тот, что был! — говаривала тетка Селвина лет двадцать кряду. Но приди к ней кто-нибудь и брякни: «Да, район уж не тот, то ли дело раньше было», и она тут же заявляла: — А по-моему, ничего подобного.

Тетка-то и слала Селвину по чеку в месяц: ведь мать Селвина была валлийка, а чем же мальчик виноват, коли у него мать из Уэльса, а стало быть, либо тронутая, либо прожженная лентяйка. Вот и сын такой же, да не по своей вине.

Незачем так уж особенно расписывать тетку Макгрегора: как там на ней сидел темно-синий костюм или что вот, мол, личико у нее было сухое и строгое, а вокруг глаз или там у рта — сеточкой лопнувшие прожилки. Все это исчезло под землей, — где, как говорил Селвин, только и есть что разложение, — а темно-синий костюм достался сиделке.

Словом, она умерла. А за месяц-другой до того заявилась к Селвину в его лачугу возле кладбища. Была она в коричневом костюме, чтобы попусту не таскать темно-синий. Взяла и съездила к Селвину Макгрегору. А он как раз не созерцал, и дверь была настежь.

— Тетушка Макгрегор! Ну-ка, рюмочку с дороги, что значит не пью, а самую капельку. Вот так, ай да тетушка!

— Селвин, — сказала она, — дела твои идут все хуже и хуже.

— Хуже, чем что? Хуже, чем куда? Чем куд-куд-куд-куда?

Селвин заквохтал, а она засмеялась. Не могла она всерьез сердиться на Селвина.

Словом, она умерла и отказала ему сколько-то там деньжат. Селвин поехал ее хоронить, а холода стояли зверские. Он, понятно, по случаю зверских холодов запасся фляжкой. А надо вам знать, что Селвин не на шутку верил в воскресение мертвых: неужели же он хотел оскорбить тетку Макгрегор, просто подзаправился, чтоб не мерзнуть у могилы, вот и все. Ну, слегка покачивался, так было о чем говорить!

— Праху прах…

— Эдакий-то племянничек у мисс Макгрегор! Вот тебе и на!

— Да как ему не стыдно, ведь отцову сестру хоронить приехал. Господи, чего же это он делает?

Селвин поднял горсть земли. Ну поднял, посмотрел-посмотрел на эту горсть и улыбнулся. И гроб стоит ждет, и люди стоят ждут. Священник ему покивал, дескать, ладно, чего там, сыпь землю-то на гроб, а Селвин возьми и кинь ее через плечо, вроде как дома щепотку соли. А потом оглядел всю честную компанию, да так и засиял, будто сейчас скажет: «Будем здоровы!», «Со свиданьицем!» или что-нибудь еще похлестче.

— Бедная мисс Макгрегор. Единственный-то

родственник, ох, бедняжка она.

А вскорости Селвин получил письмо от теткиного поверенного насчет завещания. Чтобы не ломать голову, Селвин попросту отписал: «Приезжайте повидаться после двадцать пятого». А покамест он занялся созерцанием. Двадцать шестого в дверях Селвина показался поверенный, такой свежий мужчина в темном пальто. Селвин подумал: вот, ей-богу, какой лапушка поверенный, а вдруг он привез живые деньги, надо по этому поводу заранее тяпнуть.

— Будьте как дома, — сказал Селвин и достал второй стакан.

— Кх, — сказал тот.

— За надежду, — сказал Селвин.

А потом поверенный и говорит Селвину:

— Вам известно завещание мисс Макгрегор?

— Помнится, — объявил Селвин, — вы мне что-то об этом писали, да мне было недосуг прочесть.

Ну, тот и зачитал завещание, а как дошел до слов «моему племяннику Селвину Макгрегору», остановился, поглядел на Селвина и давай дальше: «…при условии, что он будет следить за своим здоровьем».

— Узнаю тетеньку, — сказал Селвин. — Вот была женщина, правда, мистер…

— Браун, — сказал тот. — А второй поверенный — мой компаньон мистер Харпер. Вы с ним найдете общий язык. Итак, когда вы отсюда переезжаете?

— Сразу после смерти, — сказал Селвин.

— Ну-ну, мистер Макгрегор, тут у вас нездоровая обстановка. В завещании сказано…

— Ну и пес с ним, с завещанием, как говорится, — сказал Селвин и похлопал мистера Брауна по плечу. Мистер Браун поневоле заулыбался: виски разогрело ему нутро, и вообще ему понравилось, как говорится: «Ну и пес с ним, с завещанием».

— Куда ж я денусь, здесь у меня работа, — прибавил Селвин.

— А что у вас за работа, мистер Макгрегор?

— Я созерцаю разложение.

— Ну-ну, мистер Макгрегор, это нездоровое занятие. Лично я не желал бы ставить вам палки в колеса, но мой компаньон мистер Харпер — он, знаете, у нас человек долга. А мисс Макгрегор — наш старейший клиент, и она всегда тревожилась о вашем здоровье.

— Лей, не жалей, подливай да опрокидывай, — сказал Селвин.

— Всех благ, мистер Мак. Ваше здоровье, сэр.

— Передайте Харперу, — посоветовал Селвин, — что я здоров как бык и работаю как вол.

— Какой-то у вас тощий вид, мистер Макгрегор. По-моему, тут у вас все-таки нездоровая обстановка.

Селвин сыграл ему на фортепьяно и спел песню. «О мать моя, — пел он, — стели постель. Поуже мне стели…»

— Очень мило, — сказал поверенный, когда Селвин допел. — Прямо-таки замечательно.

— Я и есть музыкант, — сказал Селвин. — А кое о чем другом Харперу даже и знать не обязательно.

— Ах, вы уже и меня хотите разложить, это не выйдет. Вы же сказали, что вы искусник по части разложения?

— Нет, нет. Я искусник по части созерцания разложения, — объяснил Селвин. — Совсем другое дело, сравнил тоже. Ну-ка, поддали.

— Желаю вам, чего вы сами себе желаете, — сказал мистер Браун. — Только меня вам нипочем не разложить!

— Это уж либо ты разложишь, либо тебя разложат, — заявил Селвин и пустился в объяснения, и спор дошел до того, что они потеряли всякий счет времени и вконец запутались с разложением,

которое стало у них называться заложением.

— Кто кого заложил? — сказал мистер Браун. — Кто из нас заложился?

Сначала Селвин не мог смеяться от кашля, а потом не мог кашлять от смеха. Очухавшись, налил по маленькой и растолковал, что если как следует подзаложить, то разложение переходит в заложение. Он запел:

— Хи-хи-хи да ха-ха-ха. Ха-ха-ха да хи-хи-хи. Заложу-ка я тебя, а ты меня подзаложи.

— Сколько ни жить, лишь бы весело! — сказал мистер Браун.

Словом, Селвин разложил поверенного. И ежемесячный чек стал покрупнее, чем раньше. Зиму он прожил по-заведенному: с двадцать пятого держал двери открытыми для всех и каждого, пятнадцатого двери запирал и садился к окошку созерцать могилы.

А весной он умер. Года два назад ему просвечивали легкие, и Селвин сказал: «Ну и пес с ними, с моими легкими, что мне, делать больше нечего. Будем здоровы!»

Мистер Браун сказал своему партнеру:

— Он даже не намекнул мне на свои легкие. Если б я знал, я бы тут же обеспечил ему теплое жилье и новый костюм. Я бы подыскал ему эко-

номку и обеспечил медицинскую помощь.

— О, эти музыканты, — сказал мистер Харпер. — Мученики профессии. Они все же вызывают невольное восхищение.

— Ах, невольное? Ах, невольное? — сердито сказал мистер Браун. Он не желал чтить память Селвина — такой мерзавец, уговор был, что он всего-навсего созерцает, а он взял и умер.

— Грустная история, — мечтательно сказал мистер Харпер. — Макгрегор был в своем роде героем.

— Ах, в своем роде, ах, в своем роде? — В тот миг мистер Браун презирал своего глупого партнера едва ли не больше, чем обижался на покойника. Правда, потом, проезжая подле былого жилья Селвина, даже мистер Браун и тот подумал: «Ах, Селвин Макгрегор, вот ведь был человек!» А когда он увидел, что старое кладбище начисто срыли и сделали на его месте детскую спортивную площадку, он остановился и долго еще созерцал разложение Селвина.